

Корней Иванович Чуковский Живой как жизнь



<http://vivovoco.rsl.ru>

Корней Чуковский ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ

Рассказы о русском языке

Глава первая СТАРОЕ И НОВОЕ

В нем (в русском языке) все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно.

Гоголь

I

Анатолий Федорович Кони, почетный академик, знаменитый юрист, был, как известно, человеком большой доброты. Он охотно прощал окружающим всякие ошибки и слабости. Но горе было тому, кто, беседуя с ним, искажал или уродовал русский язык. Кони набрасывался на него со страстной ненавистью. Его страсть восхищала меня. И все же в своей борьбе за чистоту языка он часто хватал через край.

Он, например, требовал, чтобы слово *обязательно* значило только *любезно, услужливо*.

Но это значение слова уже умерло. Теперь и в живой речи и в литературе слово *обязательно* стало означать *непрерывно*. Это-то и возмущало академика Кони.

— Представьте себе, — говорил он, хватаясь за сердце, — иду я сегодня по Спасской и слышу: “Он *обязательно* набьет тебе морду!” Как вам это нравится? Человек сообщает другому, что кто-то *любезно* поколотит его!

— Но ведь слово *обязательно* уже не значит *любезно*, — пробовал я возразить, но

Анатолий Федорович стоял на своем.

Между тем нынче во всем Советском Союзе уже не найдешь человека, для которого *обязательно* значило *блуждено*.

Нынче не всякий поймет, что разумел Аксаков, говоря об одном провинциальном враче:

“В отношении к нам он поступал *обязательно*” [С.Т. Аксаков, Воспоминания (1855). Собр. соч., т. II. М., 1955, стр. 52.]

Зато уже никому не кажется странным такое, например, двустышие Исаковского:

И куда тебе желается,
Обязательно дойдешь.

Многое объясняется тем, что Кони в ту пору был стар. Он поступал, как и большинство стариков: отстаивал те нормы русской речи, какие существовали во времена его детства и юности. Старики почти всегда воображали (и воображают сейчас), будто их дети и внуки (особенно внуки) уродуют правильную русскую речь.

Я легко могу представить себе того седоволосого старца, который в 1803 или в 1805 году гневно застучал кулаком по столу, когда его внуки стали толковать меж собой о развитии ума и характера.

— Откуда вы взяли это несносное *развитие ума*? Нужно говорить *прозрение*” [Труды Я.К. Грота, т. II. Филологические разыскания (1852-1892). СПб. 1899, стр. 69, 82.].

Стоило, например, молодому человеку сказать в разговоре, что сейчас ему надо пойти, ну, хотя бы к сапожнику, и старики сердито кричали ему:

— Не *надо*, а *надобно!* Зачем ты коверкаешь русский язык? [В Словаре Академии Российской (СПБ, 1806-1822) есть только *надобно*.]

Наступила новая эпоха. Прежние юноши стали отцами и дедами. И пришла их очередь возмущаться такими словами, которые ввела в обиход молодежь: *даровитый, отчетливый, голосование, человечный, общественность, хлыщ* [Ни в Словаре Академии Российской, ни в Словаре языка Пушкина (М., 1956-1959) слова *даровитый* нет. Оно появляется лишь в Словаре церковнославянского и русского языка, составленном вторым отделением Императорской Академии наук (СПБ, 1847). Слова *отчетливый* нет в Словаре Академии Российской. Слова *голосование* нет ни в одном словаре до Даля, 1882. Слово *хлыщ* создано Иваном Панаевым (наравне со словом *приживалка*) в середине XIX века. См. также Труды Я.К. Грота, т. II, стр. 14, 69, 83.].

Теперь нам кажется, что эти слова существуют на Руси спокон веку и что без них мы никогда не могли обойтись, а между тем в 30-40-х годах минувшего столетия то были слова-новички, с которыми тогдашние ревнители чистоты языка долго не могли примириться.

Теперь даже трудно поверить, какие слова показались в ту пору, например, князю Вяземскому низкопробными, уличными. Слова эти: *бездарность* и *талантливый*. “Бездарность, талантливый, -возмущался князь Вяземский, — новые площадные выражения в нашем литературном языке. Дмитриев правду говорил, что “наши новые писатели учатся языку у лабазников” [П. Вяземский, Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 264.]

Если тогдашней молодежи случалось употребить в разговоре такие, неведомые былым поколениям слова, как: *факт, результат, ерунда, солидарность* [Ни слова *факт*, ни слова *результат*, ни слова *солидарность* нет в Словаре Академии Российской.] представители этих былых поколений заявляли, что русская речь терпит немалый урон от такого наплыва вульгарнейших слов.

“Откуда взялся этот *факт*? — возмущался, например, Фаддей Булгарин в 1847 году. — Что это за слово? Исковерканное” [“Северная пчела”, 1847, № 93 от 26 апреля. Журнальная всякая всячина.]

Яков Грот уже в конце 60-х годов объявил безобразным новоявленное слово *вдохновлять* [Труды Я.К. Грота, т. II, стр. 14.]

Даже такое слово, как *научный*, и то должно было преодолеть большое сопротивление старозаветных пуристов, прежде чем войти в нашу речь в качестве полноправного слова. Вспомним, как поразило это слово Гоголя в 1851 году. До той поры он и не слышал о

нем [“Гоголь в воспоминаниях современников”. М. стр. 511.].

Старики требовали, чтобы вместо *научный* говорили только *ученый*: *ученая* книга, *ученый* трактат. Слово *научный* казалось им недопустимой вульгарностью. Впрочем, было время, когда даже слово *вульгарный* они готовы были считать незаконным. Пушкин, не предвидя, что оно обрусее, сохранил в “Онегине” его чужеземную форму. Вспомним знаменитые стихи о Татьяне:

Никто б не мог ее прекрасной
 Назвать; но с головы до ног
 Никто бы в ней найти не мог
 Того, что модой самовластной
 В высоком лондонском кругу
 Зовется *vulgar*. Не могу...
 Люблю я очень это слово,
 Но не могу перевести;
 Оно у нас покамест ново,
 И вряд ли быть ему в чести.
 Оно б годилось в эпиграмме...

(VIII глава)

Переводить это слово на русский язык не пришлось, потому что оно само стало русским.

И долго не могли старики примириться с таким словосочетанием, как *литературное творчество*, которого не знали ни Державин, ни Жуковский, ни Пушкин [Слова *творчество* нет ни в Словаре Академии Российской, ни в Словаре церковнославянского и русского языка (СПб. 1847).]

Конечно, старики были не правы. Теперь и слово *надо*, и слово *ерунда*, и слово *факт*, и слово *голосование*, и слово *научный*, и слово *творчество*, и слово *обязательно* (в смысле *непрерывно*) ощущаются всеми, и молодыми и старыми, как законнейшие, коренные слова русской речи, и кто же может обойтись без этих слов!

Теперь уже всякому кажется странным, что Некрасов, написав в одной из своих повестей *ерунда*, должен был пояснить в примечании: “Лакейское слово, равнозначительное слову — *дрянь*” [См. “Петербургские углы” в некрасовском альманахе “Физиология Петербурга”, часть 1. СПб, 1845, стр. 290, и в Полном собрании сочинений Н.А. Некрасова, т. VI. М, 1950, стр. 120.], а “Литературная газета” тех лет, заговорив о чьей-то *виртуозной душе*, сочла себя вынужденной тут же прибавить, что *виртуозный*- “новомодное словцо” [“Литературная газета”, 1841, стр. 94: “В игре и в приемах видна душа *виртуозная*, чтобы щегольнуть новомодным словцом”].]

В детстве я еще застал стариков (правда, довольно дряхлых), которые говорили *на бале*, *Александринский театр*, *генварь*, *румяны*, *белилы*, *мебели* (во множественном числе) и т. д.

II

Но вот миновали годы, и я, в свою очередь, стал стариком. Теперь по моему возрасту и мне полагается ненавидеть слова, которые введены в нашу речь молодежью, и вопить о порче языка.

Тем более что на меня, как на всякого моего современника, сразу в два-три года нахлынуло больше новых понятий и слов, чем на моих дедов и прадедов за последние два с половиной столетия. Среди них было немало чудесных, а были и такие, которые казались мне на первых порах незаконными, вредными, портящими русскую речь, подлежащими искоренению и забвению.

Помню, как страшно я был возмущен, когда молодые люди, словно сговорившись друг с другом, стали вместо *до свиданья* говорить почему-то *пока*.

Или эта форма: «я пошел» вместо «я уйду». Человек еще сидит за столом, он только собирается уйти, но изображает свой будущий поступок уже совершенным.

С этим я долго не мог примириться.

В то же самое время молодежью стал по-новому ощущаться глагол переживать. Мы говорили: «я переживаю горе» или «я переживаю радость», а теперь говорят: «я так переживаю» (без дополнения), и это слово означает теперь: «я волнуюсь», а еще чаще: «я страдаю», «я мучаюсь».

Такой формы не знали ни Толстой, ни Тургенев, ни Чехов. Для них переживать всегда было переходным глаголом. А теперь я слышал своими ушами следующий пересказ одного модного фильма о какой-то старинной эпохе:

— Я так переживаю! — сказала графиня.

— Брось переживать! — сказал маркиз.

По-новому осмыслился глагол *вообразить*. Прежде он означал фантазировать. Теперь он чаще всего означает: чваниться, важничать.

— Он так *воображает*, — говорят теперь о человеке, который зазнался.

Правда, и прежде было: *вообразить* о себе («много о себе *воображаете*» и т. д.). Но теперь уже не требуется никаких дополнительных слов.

Очень коробило меня заносчивое выражение *я кушаю*. В мое время то была учтивая форма, с которой человек обращался не к себе, а к другим.

— Пожалуйте кушать!

Если же он говорил о себе: *я кушаю* - это ощущалось, как забавное важничанье.

Тогда же в просторечии утвердилось словечко *обратно* - с безумным значением *опять*.

Помню, когда я впервые услышал из уст молодой домработницы, что вчера вечером пес Бармалей «обратно лаял на Марину и Тату», я подумал, будто Марина и Тата первые залаяли на этого пса.

Вдруг нежданно-негаданно не только в устную, разговорную, но и в письменную, книжную речь вторглось новое словосочетание *в адрес*- и в течение нескольких месяцев вытеснило прежнюю форму *по адресу*. Мне с непривычки было странно слышать: «она сказала какую-то колкость *в мой адрес*», «раздались рукоплескания *в его адрес*».

Такое же недоумение вызывала во мне новоявленная форма: *выбора* (вместо выборы), *договора* (вместо договоры), *лектора* (вместо лекторы).

В ней слышалось мне что-то залихватское, бесшабашное, забубенное, ухарское.

Напрасно я утешал себя тем, что эту форму уже давно узаконил русский литературный язык. «Ведь, — говорил я себе, — прошло лет восемьдесят, а пожалуй и больше, с тех пор, как русские люди перестали говорить и писать: *до мы*, *до кторы*, *учи тели*, *профе ссоры*, *сле сари*, *ю нкеры*, *пе кари*, *пи сари*, *фли гели*, и охотно заменили их формами: *дома*, *учителя*, *профессора*, *слесаря*, *флигеля*, *юнкера*, *пекаря* и т. д.» [В «Женитьбе» Гоголя (1836-1842) есть и *дома* (1, XIII) и *домы* (1, XIV).].

Мало того. Следующее поколение придало ту же залихватскую форму новым десяткам слов, таким, как: *бухга лтеры*, *то мы*, *ка теры*, *то поли*, *ла геры*, *ди зели*. Стали говорить и писать: *бухгалтера*, *тома*, *катера*, *тополя*, *лагеря*, *дизеля* и т. д.

Еще Чехов не признавал этих форм. Для него существовали только *инженеры*, и *тополи* (см., например, IX, 118; XIV, 132), а если бы он услышал: *тома*, он подумал бы, что речь идет о французском композиторе Амбруазе Тома.

Казалось бы, довольно. Но нет. Пришло новое поколение, и я услышал от него: *шофера*, *автора*, *библиотекаря*, *сектора* ... И еще через несколько лет: *выхода*, *суна*, *плана*, *матеря*, *дочеря*, *секретаря*, *плоскостя*, *скоростя*, *ведомостя*, *возраста*, *плошадя* [По словам Тургенева, форма *плошадя* с давних времен существовала в диалекте крестьян Орловской

губернии: так назывались у них “большие сплошные массы кустов” (И.С. Тургенев, Собр. соч., т. 1. М., 1961, стр. 9). Но есть основание думать, что нынешнее слово *площадь* возникло независимо от этого орловского термина. Лев Толстой (в 1874 году) утверждал, что в “живой речи употребляется форма *воза*, а не *возы*” (т. XVII, стр. 82).]

Всякий раз я приходил к убеждению, что протестовать против этих слов бесполезно. Я мог сколько угодно возмущаться, выходить из себя, но нельзя же было не видеть, что здесь на протяжении столетия происходит какой-то безостановочный стихийный процесс замены безударного окончания *ы(и)* сильно акцентированным окончанием *а(я)*.

И кто же поручится, что наши правнуки не станут говорить и писать: *крана*, *актера*, *медведя*, *желудя*. Наблюдая за пышным расцветом этой ухарской формы, я не раз утешал себя тем, что эта форма завладевает главным образом такими словами, которые в данном профессиональном (иногда очень узком) кругу упоминаются чаще всего: форма *плана* существует только среди чертежников; *торта* — в кондитерских; *супа* — в ресторанных кухнях; *площадь* — в домовых управлениях; *скоростя* — у трактористов.

Пожарные говорят: *факела*.

Не станем сейчас заниматься вопросом: желателен ли этот процесс или нет, об этом разговор впереди, а покуда нам важно отметить один многозначительный факт: все усилия бесчисленных ревнителей чистоты языка остановить этот бурный процесс или хотя бы ослабить его до сих пор остаются бесплодными. Если бы мне даже и вздумалось сейчас написать: «Крымские *тополи*», или: «*томы* Шекспира», я могу быть заранее уверенным, что в моей книге напечатают: «Крымские *тополя*», «*тома* Шекспира».

Так как и *тополи* и *томы* до того устарели, что современный читатель почуял бы и в них стилизаторство, жеманность, манерничество.

И новое значение словечка: *зачитал*. Прежде *зачитал* это значило: замошенничал книжку, взял почитать и не отдал. А теперь — *прочитал вслух, огласил*.

«Потом был *зачитан* проект резолюции».

Прежде, обращаясь к малышам, мы всегда говорили: *дети*. Теперь это слово повсюду вытеснено словом *ребята*. Оно звучит и в школах и в детских садах, что чрезвычайно шокирует старых людей, которые мечтают о том, чтобы дети снова назывались детьми. Прежде ребятами назывались только крестьянские дети (наравне с солдатами и парнями).

Дома одни лишь *ребята*.

(Некрасов, III, 12)

Было бы поучительно проследить тот процесс, благодаря которому в нынешней речи возобладала деревенская форма.

Вместо *отражать* появилось *отображать*. Вместо *широкие массы читателей* возник небывалый *широкий читатель*.

Появилась в детском просторечии новая форма *слабо* (“тебе *слабо* перепрыгнуть через эту канаву”) и т. д.

Очень раздражала меня на первых порах новая роль слова *запросто*. Прежде оно значило: без церемоний.

— Приходите к нам *запросто* (то есть по-дружески).

Теперь это слово понимают иначе. Почти вся молодежь говорит:

— Ну это *запросто* (то есть: не составляет никакого труда).

Не стану перечислять все слова, какие за мою долгую жизнь вошли в наш родной язык буквально у меня на глазах.

Скажу только, что среди этих слов было немало таких, которые встречал я с любовью и радостью. О них речь впереди. А сейчас я говорю лишь о тех, что вызывали у меня отвращение. Поначалу я был твердо уверен, что это слова-выродки, слова-отщепенцы, что они искажают и

коверкают русский язык, но потом, наперекор своим вкусам и навыкам, попытался отнестись к ним гораздо добрее.

Стерпится — слюбится! За исключением слова *обратно* (в смысле *опять*), которое никогда и не притязало на то, чтобы войти в наш литературный язык, да пошлого выражения *я кушаю*, многие из перечисленных слов могли бы, кажется, мало-помалу завоевать себе право гражданства и уже не коробить меня.

Это в высшей степени любопытный процесс — нормализация недавно возникшего слова в сознании тех, кому оно при своем появлении казалось совсем неприемлемым, грубо нарушающим нормы установленной речи.

Очень точно изображает этот процесс становления новых языковых норм академик Яков Грот. Упомянув о том, что на его памяти принялись такие слова, как: *деятель, представитель, почин, влиятельный, сдержанный*, ученый справедливо замечает:

“Ход введения подобных слов бывает обыкновенно такой: вначале слово допускается очень немногими; другие его дичатся, смотрят на него недоверчиво, как на незнакомца; но чем оно удачнее, тем чаще начинает являться. Мало-помалу к нему привыкают, и новизна его забывается: следующее поколение уже застаёт его в ходу и вполне усваивает себе.

Так было, например, со словом *деятель*; нынешнее молодое поколение, может быть, и не подозревает, как это слово, при появлении своем в 30-х годах, было встречено враждебно большею частью пишущих. Теперь оно слышится беспрестанно, входит уже и в правительственные акты, а было время, когда многие, особенно из людей пожилых, предпочитали ему *делатель* (см., напр., сочинения Плетнева).

Иногда случается, однако ж, что и совсем новое слово тотчас полюбится и войдет в моду. Это значит, что оно попало на современный вкус. Так было в самое недавнее время со словами: *влиять* (и *повлиять*), *влиятельный, относиться к чему-либо* так или иначе и др." [Труды Я.К. Грота, т. II. СПб, 1899, стр. 17.].

Почему бы этому не случиться и с теми словами, о которых я сейчас говорил?

Конечно, я никогда не введу этих слов в свой собственный речевой обиход. Было бы противоестественно, если бы я, старый человек, в разговоре сказал, например, *договора*, или: *тома*, или: *я так переживаю*, или: *ну, я пошел*, или: *пока*, или: *я обязательно подъеду к вам сегодня*. Но почему бы мне не примириться с людьми, которые пользуются таким лексиконом? Право же, было бы очень нетрудно убедить себя в том, что слова эти не хуже других: вполне правильны и даже, пожалуй, желательны.

— Ну что плохого, — говорю я себе, — хотя бы в коротеньком слове *пока*? Ведь точно такая же форма прощания с друзьями есть и в других языках, и там она никого не шокирует. Великий поэт Уолт Уитмен незадолго до смерти простился с читателями трогательным стихотворением “So long!”, что и значит по-английски — “Пока!”. Французское *a bientot* имеет то же самое значение. Грубости здесь нет никакой. Напротив, эта форма исполнена самой любезной учтивости, потому что здесь спрессовался такой (приблизительно) смысл: будь благополучен и счастлив, *пока* мы не увидимся вновь.

Я пробую спорить с собою, пробую подавить в себе свои привычные субъективные вкусы и, сделав над собою усилие, пытаюсь хоть отчасти примириться даже с коробящим меня словечком *зачитать*.

— Ведь, — говорю я себе, — теперь это слово приобрело специфический смысл, какого не было ни в одном производном от глагола *читать*; смысл этот, мне сдается, такой: огласить одну или несколько официальных бумаг на каком-нибудь (большею частью многолюдном) собрании.

Да и с выражением *ну, я пошел* не так уж трудно примириться, как чудилось мне в первое время. Великий языковед А.А. Потебня еще в 1874 году отыскал образцы этой формы в литовских, сербских, украинских текстах, а также в наших старорусских духовных стихах:

Молися ты господу, трудися

За Алексея божия человека,

А я пошел во иншую землю [А.А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. I-II. М., 1958, стр. 271-275.].

Увидя это я *пошел* в древней песне, существующей по меньшей мере полтысячи лет, я уже не мог восставать против этого — как теперь оказалось — далеко не нового “новшества”, узаконенного нашим языком с давних пор и совершенно оправданного еще в 70-х годах одним из авторитетнейших наших лингвистов.

Не так-то легко оказалось побороть инстинктивное отвращение к формам: *инженера, договора, площадь, скорости*.

Но и здесь я решил преодолеть свои личные вкусы и вдуматься во все эти слова беспристрастно.

— Для меня несомненно, — сказал я себе, — что массовое перенесение акцента с первых слогов на последние происходит в наше время неспроста. Деревенская, некрасовская Русь такой переакцентировки не знала: язык патриархальной деревни тяготел к протяжным, неторопливым словам с дактилическими окончаниями (то есть к таким словам, которые имеют ударение на третьем слоге от конца):

Пораста влены тамсто лики точёные,

Поразо стланы тамска терти браные.

(II, 153) [Подробнее см. об этом: Корней Чуковский, Мастерство Некрасова, изд. третье. М., 1959, стр. 592-610.]

На две строки целых шесть трехсложных, четырехсложных, пятисложных слов. Такое долгословие вполне отвечало эстетическим вкусам старозаветной деревни.

Этот вкус отразился и в поэзии Некрасова (а также Кольцова, Никитина и других “мужицких демократов”):

Всевынося щего русского племени

Многострада льная мать!

Недаром долгие протяжные слова, соответствующие медлительным темпам патриархального быта, так характерны для песенного народного творчества минувших столетий. В связи с индустриализацией страны эти медлительные темпы изжиты: наряду с протяжной песней появилась короткая частушка, слова стали энергичнее, короче, отрывистее. А в длинных словах, к которым столько веков тяготела эстетика старорусских произведений народной поэзии — колыбельных и свадебных песен, былин и т. д., ударения переключались с третьего слога (от конца) на последний. Начался планомерный процесс вытеснения долгих дактилических слов словами с мужским окончанием: вместо *ма тери* стало *матеря*, вместо *ска терти* — *скатертя*, вместо *то поли* — *тополя*.

Так что и эти трансформации слов и эта тяга к окончательным ударениям исторически обусловлены давнишней тенденцией нашего речевого развития.

Да и форма *я переживаю*, может быть, совсем не такой криминал. Ведь во всяком живом разговоре мы часто опускаем слова, которые легко угадываются и говорящим и слушающим. Мы говорим: “Скоро девять” (и подразумеваем: часов). Или: “У него температура” (подразумеваем: высокая). Или: “Ей за сорок” (подразумеваем: лет). Или: “Мы едем на Басманную” (подразумеваем: улицу).

Такое опущение называется эллипсисом. Здесь вполне законная экономия речи. Вспомним другой переходный глагол, тоже в последнее время утративший кое-где свою переходность: *нарушать*.

Все мы слышали от кондукторов, милиционеров и дворников:

— Граждане, *не нарушайте!*

Подразумевается: установленных правил. И другая такая же форма:

— Граждане, переходя улицу там, где нет перехода, вы *подвергаетесь*.

Эллипсис ли это, не знаю. Но *переживать*, уж конечно, не эллипсис: дополнение здесь не подразумевается, а просто отсутствует.

Тот, кто произнес эту фразу, даже удивился бы, если бы его спросили, что именно он переживает: горе или радость. О радости не может быть и речи; *переживать* нынче означает:

волноваться, тревожиться.

Как бы ни коробило нас это новое значение старого слова, оно так прочно утвердилось в языке, что реставрация былого значения едва ли возможна.

Теперь мне даже странно вспомнить, как сердило меня на первых порах нынешнее словосочетание: *сто грамм*.

— Не *сто грамм*, а *сто граммов!* - с негодованием выкрикивал я.

Но мало-помалу привык, обтерпелся, и теперь эта новая форма кажется мне совершенно нормальной.

И сказать ли? Я даже сделал попытку примириться с русским падежным окончанием слова *пальто*.

Конечно, это для меня трудновато, и я по-прежнему тяжело страдаю, если в моем присутствии кто-нибудь скажет, что он нигде не находит *пальта* или идет к себе домой за *пальтом*.

Но все же я стараюсь не сердиться и утешаю себя таким рассуждением

— Ведь, — говорю я себе, — вся история слова *пальто* подсказывает нам эти формы. В повестях и романах, написанных около середины минувшего века или несколько раньше, слово это печаталось французскими буквами:

“Он надел свой модный *paletot*”.

“Его синий *paletot* был в пыли”.

По-французски *paletot* — мужского рода, и даже тогда, когда это слово стало печататься русскими буквами, оно еще лет восемь или десять сохраняло мужской род и у нас. В тогдашних книгах мы могли прочесть:

“Этот красивый *пальто*”,

“Он распахнул свой осенний *пальто*”.

Но вот после того, как *пальто* стало очень распространенной одеждой, его название сделалось общенародным, а когда народ ощутил это слово таким же своим, чисто русским, как, скажем, *яйцо*, *колесо*, *молоко*, *толокно*, он стал склонять его по правилам русской грамматики: *пальто*, *пальту*, *пальтом* и даже *пальта*.

— Что же здесь худого? — говорил я себе и тут же пытался убедить себя новыми доводами. — Ведь русский язык настолько жизнеспособен, здоров и могуч, что тысячу раз на протяжении веков самовластно подчинял своим собственным законам и требованиям любое иноязычное слово, какое ни войдет в его орбиту.

В самом деле. Чуть только он взял у татар такие слова, как *тулуп*, *халат*, *кушак*, *амбар*, *сундук*, *туман*, *армяк*, *арбуз*, ничто не помешало ему склонять эти чужие слова по законам русской грамматики: *сундук*, *сундука*, *сундуком*.

Точно так же поступил он со словами, которые добыл у немцев, с такими, как *фартук*, *бляха*, *парикмахер*, *курорт*.

У французов он взял не только *пальто*, но и такие слова, как *бульон*, *пассажир*, *спектакль*, *пьеса*, *кулиса*, *билет*, - так неужели он до того анемичен и слаб, что не может распоряжаться этими словами по-своему, изменять их по числам, падежам и родам, создавать такие чисто русские формы, как *пьеска*, *закулисный*, *безбилетный*, *бульонщик*?

Конечно, нет! Эти слова совершенно подвластны ему. Почему же делать исключение для слова *пальто*, которое к тому же до того обрусело, что тоже обросло исконно русскими национальными формами: *пальтишко*, *пальтецо* и т. д.

Почему же не склонять это слово, как склоняется, скажем, *шило*, *коромысло*, *весло*? Ведь оно принадлежит именно к этому ряду существительных среднего рода. Пуристы же хотят, чтобы оно оставалось в ряду таких несклоняемых слов, как *домино*, *депо*, *трюмо*, *манто*, *метро*, *бюро* и т. д. Между тем оно уже вырвалось из этого ряда, и нет никакого резона переносить его обратно в этот ряд.

Впрочем, и *метро*, и *бюро*, и *депо* тоже не слишком-то сохраняют свою неподвижность. Ведь просторечие склоняет их по всем падежам.

— В *дене* — танцы.

— Завтра на *бюре* рассмотрим!

— Я лучше *метро м* поеду!

Сравни у Маяковского:

Я, товарищи, из военной *бюры*.

(“Хорошо!”)

Русский язык вообще тяготеет к склонению несклоняемых слов. Не потому ли, например, создалось слово *кофий*, что *кофе* никак не возможно склонять? Не потому ли кое-где утвердились формы *радиво* (вместо радио) и *какава* (вместо какао), что эти формы можно изменять по падежам?

Всякое новое поколение русских детей изобретает эти формы опять и опять. Четырехлетний сын профессора Гвоздева называл радиомачты — *радивы* и твердо верил в склоняемость слова *пальто*, вводя в свою речь такие формы, как в *пальте*, *пальты* [А.Н. Гвоздев, Вопросы изучения детской речи. М., 1961, стр. 307 и 316.] Воспитывался он в высококультурной семье, где никто не употреблял этих форм.

III

Так убеждал я себя, и мне казалось, что все мои доводы неотразимо логичны.

Но, очевидно, одной логики мало для оценки того или иного языкового явления. Существуют другие критерии, которые сильнее всякой логики. Мы можем сколько угодно доказывать и себе и другим, что то или иное слово и по своему смыслу, и по своей экспрессии, и по своей грамматической форме не вызывает никаких нареканий. И все же по каким-то особым причинам человек, который произнесет это слово в обществе образованных, культурных людей, скомпрометирует себя в их глазах. Конечно, формы словоупотребления чрезвычайно меняются, и трудно предсказать их судьбу, но всякий, кто скажет, например, в 1962 году *выбора*, сразу зарекомендует себя как человек не очень высокой культуры.

И как бы ни были убедительны доводы, при помощи которых я пытался оправдать склоняемость слова *пальто*, все же едва я услышал от одной очень милой медицинской сестры, что осенью она любит ходить без *пальта*, я невольно почувствовал к ней антипатию.

И тут мне сделалось ясно, что, несмотря на все свои попытки защитить эту, казалось бы, совершенно законную форму, я все же в глубине души не приемлю ее. Ни под каким видом, до конца своих дней я не мог бы ни написать, ни сказать в разговоре: *пальта*, *пальту* или *пальтом*.

И нелегко мне чувствовать расположение к тому человеку — будь он врач, инженер, литератор, учитель, студент, который скажет при мне:

— Он смеялся в *мой адрес*.

Или:

— *Матеря* пришли на *выбора*.

Может быть, в будущем, в 70-х годах, эти формы окончательно утвердятся в обиходе культурных людей, но сейчас, в 1962 году, они все еще ощущаются мною как верная примета бескультурия!

Что же касается таких форм, как *пока*, *я пошел*, *вроде дождик идет* и др., их, несомненно, пора амнистировать, потому что их связь с той средой, которая их породила, успела уже всеми позабыться, и, таким образом, из разряда просторечных и жаргонных они уже прочно вошли в разряд литературных, и нет ни малейшей нужды изгонять их оттуда.

Глава вторая МНИМЫЕ БОЛЕЗНИ И — ПОДЛИННЫЕ

Господи, какой кавардак! — воскликнула на днях одна старуха, войдя в комнату, где пятилетние дети разбросали по полу игрушки.

И мне вспомнилась прелюбопытная биография этого странного слова.

В семнадцатом веке *кавардаком* называли дорогое и вкусное яство, которым лакомились главным образом цари и бояре.

Но миновали годы, и этим словом стали называть то отвратительное варево, вроде болтушки, которым казнокрады-подрядчики военного ведомства кормили голодных солдат. В болтушку бросали что попало: и нечищеную рыбу (с песком!), и сухари, и кислую капусту, и лук. Мудрено ли, что словом *кавардак* стали кое-где именовать острую боль в животе, причиненную скверной едой?

А потом, еще через несколько лет, к тому же слову прочно прикрепилось значение: бестолочь, неразбериха, беспорядок, неряшество. Об этом я узнал из статьи известного лингвиста — профессора Б.А. Ларина [Б.А. Ларин, Из истории слов. Сб. Памяти академика Л. В. Щербы. Л., 1951, стр. 191-200.].

В той же статье сообщается диковинная биография слова *семья*.

В дофеодальную, родо-племенную эпоху это слово означало “коллектив родни”. После внедрения феодализма смысл слова резко изменился. Оно стало означать “слуги”, “рабы”, “челядь”. В одном старорусском документе читаем:

“Взяли его, Сеньку, в полон татаровья с женою и с 2 детьми и со всею *семьею* ” (1660).

Из чего следует, что ни жена, ни дети не назывались в то время *семьей*.

Наряду с этим у слова *семья* появилось новое значение: оно стало синонимом *жены*. В одном тексте так и сказано, что некий Евтропьев внес столько-то рублей в монастырь за детей и за *семью* свою *Матрену*, а в другом тексте другая жена называется *семья Агриппина*. Это значение слова *семья* сбереглось и в фольклоре:

Здравствуй, Добрыня сын Никитинич,
Со своею да с любой *семьей* —
С той было Маринушкой Кайдальевной.

Причем одновременно с этим значением (семья-жена) сохранялось и то — основное — значение (семья-родня). Впоследствии первое из этих значений было отброшено, пренебрежено и забыто. Говорят, оно доживает свой век кое-где на Дону да в Поволжье.

Когда читаешь такие биографии слов, окончательно утверждаешься в мысли, что русский язык, как и всякий здоровый и сильный организм, весь в движении, в динамике непрерывного роста.

Одни его слова отмирают, другие рождаются, третьи из областных и жаргонных становятся литературными, четвертые из литературных уходят назад — в просторечие, пятые произносятся совсем по-другому, чем произносились лет сорок назад, шестые требуют других падежей, чем это было, скажем, при Жуковском и Пушкине.

Нет ни на миг остановки, и не может быть остановки. Здесь все движется, все течет, все меняется. И только пуристы из самых наивных всегда воображают, что язык — это нечто неподвижное, навеки застывшее, — не бурный поток, но стоячее озеро.

Академик В.В. Виноградов уже много лет печатает (к сожалению, редко) краткие очерки под общим заглавием “Из истории русской литературной лексики”. Эти очерки помогают читателю не только проследить те пути и перепутья, по которым приходилось брести иному старинному русскому слову, покуда оно не нашло современного смысла, но и уразуметь, как многообразны процессы, при помощи которых наш язык непрерывно, безостановочно, из эпохи в эпоху обновляет свой словарный состав.

“При изучении конкретной истории отдельных слов, — справедливо говорит академик Виноградов, — обнаруживаются те многомиллионные ручьи и потоки, которые с разных сторон — из глубин народной жизни и устного народного творчества, из быта и культуры разных слоев общества, из разных областей профессионального труда, из сочинений крупнейших писателей — несут новые формы выражения и выразительности, новые мысли,

новые слова и значения в «едва пределы имеющее море» (как выразился Ломоносов) русского литературного языка» [В.В. Виноградов, Из истории современной русской литературной лексики. “Известия Академии наук

СССР”, т. IX, 1950, вып. 5, стр. 376.].

В этих этюдах ученый подробно рассказывает, каким образом, например, слово *веянье* из термина, относящегося к деревенским работам, стало термином философским, а потом освободилось от философской окраски и стало (преимущественно во множественном числе) означать: “господствующие в обществе взгляды”, причем чаще всего сочеталось с прилагательным *новые*: “новые веянья”, “новейшие веянья”. Так же поучительны богатые приключениями биографии слов и выражений: *на мази, ахинея, свистопляска, кисейная барышня, стрельнуть, отсебятина* и многие другие, исследованные В.В. Виноградовым в их живой и многосложной динамике.

О такой же трансформации множества старых речений говорит Л. Боровой в своей увлекательной книге «Путь слова», содержание которой раскрыто в подзаголовке «Очерки о старом и новом в языке русской советской литературы» [Л. Боровой, Путь слова. М., 1960.].

Лексика каждой эпохи изменчива, и ее невозможно навязывать позднейшим поколениям. И кто же станет требовать, чтобы слово *кавардак* воспринималось в настоящее время как «лакомое блюдо именитых бояр» или как «боль в животе». Прежние смысловые значения слов — исчезают бесследно, язык движется вперед без оглядки — в зависимости от изменений социального строя, от завоеваний науки и техники и от других чрезвычайно разнообразных причин.

II

Огулом осуждая современную речь, многие поборники ее чистоты любят призывать молодежь:

— Назад к Пушкину!

Как некогда их отцы призывали:

— Назад к Карамзину!

А их деды:

— Назад к Ломоносову!

Эти призывы никогда не бывали услышаны. Конечно, Пушкин на веки веков чудотворно преобразил нашу речь, придав ей прозрачную ясность, золотую простоту, музыкальность, и мы учимся у него до последних седин и храним его заветы как святыню, но в его лексике не было и быть не могло тысячи драгоценнейших оборотов и слов, созданных более поздними поколениями русских людей.

Теперь уже мы не скажем вслед за ним: *верьх, скрып, дальний, тополы, чернилы, бревны, оспоривать, турков*.

Мы утратили пушкинскую глагольную форму *пришед* (которая, впрочем, в ту пору уже доживала свой век).

Мы не употребляем слова *позор* в смысле *зрелище* и слова *плеск* в смысле *аплодисменты*.

Были у Пушкина и такие слова, которые в его эпоху считались вполне литературными, утвердившимися в речи интеллигентных людей, а несколько десятилетий спустя успели перейти в просторечие: он писал *крылос, разойтись, захочем* [См. в книге Б.В. Томашевского “Стих и язык” статью “Вопросы языка в творчестве Пушкина”. М., 1959, стр. 371.]. И вспомним двестише из “Евгения Онегина”:

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон *щепетильный*.

Посмотрев в современный словарь, вы прочтете, что *щепетильный* — это “строго принципиальный в отношениях с кем-нибудь” [С.И. Ожегов, Словарь русского языка. М., 1960, стр. 887.].

Между тем во времена Пушкина это значило “галантерейный, торгующий галантерейными товарами: галстуками, перчатками, лентами, гребенками, пуговицами”.

И *ярем*, и *стогны*, и *вежды*, и *вотще*, и *алкать*, и *ярмонка*, и *нашед*, и *времен*, и *шит*, и *карла*, и *перси*, и *пени*, и *денница*, и *плески*, и *подъемлют*. и *десница*, и *пламень*, и *длань*, и другие слова, все еще жившие в языке той эпохи (хотя и тогда ощущавшиеся чуть-чуть архаичными), давно уже стали достоянием истории, и, конечно, никто из современных писателей не введет их в свои сочинения на том основании, что эти слова — пушкинские.

И после Пушкина — сколько появилось оборотов и слов, которые, отслужив свою недолгую службу, либо переосмыслились, либо исчезали совсем!

Взять хотя бы слово *плакат*. Кто не знает этих уличных, ослепительно ярких, разноцветных картин, нарисованных с агитационными или рекламно-коммерческими целями? Мы так привыкли к *плакатам*, к *плакатной* живописи, *плакатным* художникам, мы так часто говорим: “это слишком *плакатно*”, или: “этому рисунку не хватает *плакатности*”, что нам очень трудно представить себе то сравнительно недавнее время, когда плакатами назывались... паспорта для крестьян и мещан.

Между тем, если вы возьмете словарь Даля, вышедший в обновленной редакции в 1911 году, вы не без удивления прочтете: “*Плакат*, м. (нем. Plakat), паспорт (!) для людей податного сословия” (!!)[В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. III. М.-П., 1911, столбец 298.]. Это все, что в начале двадцатого века можно было в России сказать о плакате.

И еще пример. Молодое поколение (да и то, что постарше) давно освоилось с такими формами, как “*Звонила* Вера, что завтра уезжает”, или: “*Позвони* Еремееву, чтобы прислал чемодан”, но еще Чехов не знал этих форм. Не знал он и формы: “*говорить по телефону*”. Он писал: “*Сейчас в телефон* говорила со мной Татаринова” (XIX, 231); “*Альтшуллер говорил в телефон*” (XIX, 231); “*Сейчас говорил в телефон* грузинский учитель” (XIX, 280); “*Сейчас говорил в телефон* с Л. Толстым” (XIX, 186) и т. д.

Та же форма в его “*Рассказе неизвестного человека*”: “Я заказывал в ресторане кусок ростбифа и говорил *в телефон* Елисееву, чтобы прислали нам икры, сыру, устриц и проч.” (VIII, 180).

Изменение микроскопическое, почти неприметное: замена одного крохотного словечка другим, но именно путем безостановочного изменения микрочастиц языка меняется его словесная ткань.

Иногда привычные слова вдруг приобретают новый смысл, который более актуален, чем прежний. Таково, например, слово *спутник*, которое внезапно прогремело на всех континентах в качестве всемирного термина, применяемого к искусственным небесным телам, из-за чего первоначальное, старое, “земное” значение этого слова сразу потускнело и зачахло. В нашей стране уже растет поколение, которое даже не слыхало о том, что в жизни бывают *спутники*, не имеющие отношения к космосу.:

Как-то в одной из своих лекций о Чехове я, выступая перед радиослушателями, сказал между прочим, что его обокрали дорожные спутники. Четырехлетний житель Севастополя, Вова, случайно услышал эту фразу, и на лице его появилось выражение ужаса:

— Мама, ты слышишь? Спутника обокрали! [Корней Чуковский, От двух до пяти. М., 1961, стр. 70.]

Первоначальное значение этого слова, еще недавно такое живое и ясное, для Вовы, как и для миллиона других его сверстников, просто не существует и не имеет права существовать. Оно вытеснено новым значением, таким победоносным и величественным.

Да и взрослые, насколько удалось мне заметить, избегают употреблять это слово в том смысле, в каком оно употреблялось до запуска искусственных *спутников*. Можно быть твердо уверенным, что в настоящее время Горький не озаглавил бы своего рассказа “*Мой спутник*”, а Вера Панова не назвала бы своей повести “*Спутники*”. Старик Жуковский, живи он теперь, не призывал бы нас хранить благодарную память

Своим сопутствием для нас животворили...

[В.А. Жуковский. Библиотека поэта. Л., 1956, стр. 251.]

Ибо это слово переродилось в один-единственный день, нанеся непоправимый ущерб своему первоначальному смыслу.

Точно такая же судьба постигла слово *шофер*. Современному читателю кажется фантастически странной фраза Григоровича, сказанная в 1845 году Достоевскому:

— Я ваш клакёр-шофер [Ф. Достоевский, Письма, т. 1. М.-Л., 1928, стр. 82. По-французски: “je suis votre claqueur-chauffeur”].

Автомобилей тогда и в помине не было. Так что, называя себя шофером Достоевского, Григорович отнюдь не хотел сказать, что он водитель персональной машины автора “Бедных людей”. Французское слово *шофер* (*chauffeur*) значило тогда *кочегар, источник* (буквально: “тот, кто согревает”). Григорович именно эту роль и приписывал себе — роль разогревателя славы своего великого друга.

Но вот во Франции появились автомобили, и слово *шофер* получило новый, неожиданный смысл, а старый смысл понемногу позабылся, и теперь во всем мире оно означает: водитель автомобильного транспорта [Simeon Potter, *Language in the modern world*. (Penguin), 1960, p. 160.].

Оттого-то не существует таких словарей, о которых мы могли бы сказать, что в них помещается весь словарный капитал того или иного народа, даже в том случае, если словарь называется полным. Превосходный “Словарь русского языка”, составленный С.И. Ожеговым, вышел четвертым изданием в 1960 году, между тем теперь стало ясно, что он требует поправок, перемен, дополнений. Например, о *космонавте* в словаре говорится: “Тот, кто будет совершать полеты в космос” [С.И. Ожегов, *Словарь русского языка*. М., 1960, стр. 292.]. Теперь это *будет* уже устарело. Теперь о космонавте необходимо писать: “Тот, кто *совершает* полеты в космос”.

С величайшей гордостью вспоминают советские люди, как чудесно обновила наш язык революция.

Она очистила его от таких омерзительных слов, как *жид, малоросс, инородец, простонародье, мужичьё* и т.д. Из действующих слов они сразу же стали архивными¹.

А также: *ваша светлость, ваше сиятельство, ваше благородие, ваше высокопревосходительство* и т. д.

Уничтожено унижительное слово *прошение*. Изгнано слово *жалованье*, которое заменилось *зарплатой*, ибо в *жалованье* с давних времен сохранялся оттенок унижительной милости:

— Государь жалует тебя (землей или чином),

И нужно ли говорить, каким огромным содержанием насыщены такие новые слова, которые вошли в языки всего мира, как *Советы, советский, колхоз, комсомол, спутник, прилуниться* и т. д.

Впервые в истории нашей планеты русский язык становится языком всемирного значения. Трудно представить себе в настоящее время какой-нибудь университет или колледж в Англии, в США, во Франции, в Италии, в Швеции, где бы не было кафедры (или нескольких кафедр) русского языка и словесности и где эти кафедры не привлекали бы самую широкую массу студенчества.

“В настоящее время, — говорит академик В.В. Виноградов, — в сознании всего человечества именно русский язык становится действенным средством для всестороннего, углубленного понимания в области развития социалистических идей... Русский язык стал интернациональным языком, языком межгосударственного общения и

¹ Соответственно, контрреволюция 90-х годов вернула в лексикон многие из этих омерзительных слов — *V.V.* А вместе с ними и такие подобострастные формулы, утверждавшие неравенство людей, как *милостивый государь, ваш покорный слуга, покорнейше прошу, покорнейше благодарю, соизвольте, извольте, честь имею быть* и т. д.

культурно-идеологического взаимодействия между всеми народами Советского Союза. Русский язык распространяется везде в странах Запада и Востока. Интерес к его изучению возрастает на всех материках нашей планеты” [Акад. В.В. Виноградов, О культуре русской речи. Статья в журнале “Русский язык в школе”, 1961, №3.].

А такие народы, как таджики, узбеки, азербайджанцы, казахи, дагестанцы, туркмены и многие другие, охотно и радушно ввели в свой речевой обиход тысячи русских слов — философских, общественно-политических, научных, технических терминов, а также иноязычных, уже обруселых.

С ростом и укреплением советской государственности многие старинные слова, отмененные на первых порах революционными массами, снова были введены в обиход, так как те мрачные ассоциации, которые эти слова вызывали в народе, уже забылись новым поколением советских людей. Так, в связи с заменой названия армии, вышли из употребления слова *красногвардеец* и *красноармеец*, их заменило слово *солдат*. Появились много лет не употреблявшиеся слова: *воин, рядовой, гвардии рядовой, гвардеец, воинство, кавалер ордена, ополченец* и др.

Вновь возродились такие слова, как *полковник, подполковник, генерал. Комиссариаты* заменились *министерствами, комиссары — министрами. Полпредства* переименованы в *посольства, полпреды — в послов. Исправдомам и домзакам* вновь было присвоено общее наименование — *тюрьма*” [В.Ф. Алтайская, Переходные явления в лексике русского языка послеоктябрьского периода. “Русский язык в школе”, 1960, № 5, стр. 16-17. Почти все последние примеры заимствованы из этой статьи. В ней дана глубоко продуманная мотивировка каждой из произошедших в языке перемен.].

А некоторые слова позабылись, исчезли: *военспец, всеобуч, деткор, юнкор, румчерод, гаврилка* (воротничок), *керенка, максимка* (поезд), *открепляться, мешочничать* и т.д., и т.д., и т.д.

III

Все это так. Этого нельзя забывать. Каждый живой язык, если он и вправду живой, вечно движется, вечно растет.

Но одновременно с этим в жизни языка чрезвычайно могущественна и другая тенденция прямо противоположного свойства, столь же важная, столь же полезная. Она заключается в упорном и решительном сопротивлении новшествам, в создании всевозможных плотин и барьеров, которые сильно препятствуют слишком быстрому и беспорядочному обновлению речи.

Без этих плотин и барьеров язык не выдержал бы напора бесчисленного множества слов, рождающихся каждую минуту, он весь расшатался бы, превратился бы в хаос, утратил бы свой целостный, монолитный характер. Только этой благодатной особенностью нашего языкового развития объясняется то, что, как бы ни менялся язык, какими бы новыми ни обрастал он словами, его общенациональные законы и нормы в основе своей остаются устойчивы, неизменны, незыблемы:

Как сильно буря ни тревожит
Вершины вековых деревьев,
Она ни долу не положит,
Ни даже раскачать не может
До корня заповедный лес.

(Некрасов, II, 461)

Пусть она, эта буря, и повалит какую-нибудь одряхлевшую сосну или ель. Пусть где-нибудь под тенью дубов разрастется колючий бурьян. Лес все же останется лесом, какая бы судьба ни постигла его отдельные деревья или ветви. Даже в те эпохи, когда в язык проникает наибольшее число новых оборотов и терминов, а старые исчезают десятками, он в главной своей сути остается все тем же, сохраняя в неприкосновенности золотой фонд и своего словаря

и своих грамматических норм, выработанных в былые века. Сильный, выразительный и гибкий язык, ставший драгоценнейшим достоянием народа, он мудро устойчив и строг.

Вспомним, например, романы Достоевского: сколько там новых словечек и слов! И *шлёпохвостница*, и *окраинец*, и *слепондас*, и *куцавешный*, и какое-то *всемство* и пр. Но, кроме слова *штушеваться*, ни одно не перешло из сочинений писателя в общенациональный литературный язык [А.Г. Горнфельд. Новые словечки и старые слова. П., 1922, стр. 28-33. К этим словам можно присовокупить и другие неологизмы Достоевского: *юношественный*, *картавка*.].

То же случилось и с теми словами, которые изобрел Маяковский: *громадьё*, *нагаммить*, *стодомый*, *крикогубый* и многие десятки других. Стихи Маяковского завоевали себе всемирную славу, их знает наизусть вся страна, но ни одно из этих слов не привилось в языке, хотя под пером у поэта они хороши и естественны.

Лет тридцать назад некий филолог составил весьма несуразный словарь, где настойчиво рекомендовал русским людям такие слова, как *своевина*, *царщина*, *викжеляние* и пр., уверяя, что это и есть законнейшая советская лексика [См. В.З. Овсянников, Литературная речь. Толковый словарь современной общелитературной фразеологии. М., 1935, стр. 48, 241, 306.]. Но народ не утвердил этих новшества, и новые слова оказались словами-временками. Вообще количество новых выражений и слов, каким бы огромным ни казалось оно современникам, не идет ни в какое сравнение с количеством тех выражений и слов, которые пребывают в веках неизменными. Народное чутье, народный вкус — суровые регуляторы речи, и если бы не эта суровость, язык в каких-нибудь пять-десять лет весь зарос бы словесной крапивой. Оттого-то, несмотря ни на какие *денницы* и *вежды*, пушкинский язык ощущается нами как современный, сегодняшней: его спасла приверженность народа к устойчивым традициям своего языка.

В каждую эпоху литературный язык представляет собой равнодействующую этих двух противоположных стремлений, одинаково законных и естественных: одно — к безудержному обновлению речи, другое — к охране ее старых, испытанных, издавна установленных форм. Оба стремления, проявляясь с одинаковой силой, обрекли бы наш язык на абсолютный застой, неподвижность. Сила новаторов все же во всякое время превышает силу консерваторов — это-то и обеспечивает языку его правильный рост. Все дело в пропорции, в норме — в гармонии *да* и *нет*. Здесь то раздвоение единого и единство противоположностей, которое и составляет самую суть диалектики.

Так как в нашу эпоху обновление речи происходит очень уж бурными темпами, блюстители ее чистоты со своей стороны принимают героические меры, чтобы хоть немного сдерживать небывалый напор новых оборотов и слов, хлынувших с неистовой силой в нашу разговорную и литературную речь.

IV

Если бы у кого-нибудь было сомнение, что борьба за нерушимые языковые традиции — одна из самых насущных, злободневных задач нашей нынешней общественной жизни, что никогда еще разрешение этой задачи не казалось более важным и нужным, чем нынче, достаточно хотя бы бегло взглянуть на полки и витрины книжных лавок.

Никогда еще не выходило такого множества книг, диссертаций, популярных брошюр, газетно-журнальных статей, стремящихся так или иначе повысить нашу языковую культуру.

Одна за другою появляются в Москве, в Ленинграде, в Иркутске, в Вологде, в Минске, в Донецке разнообразные книги под однообразными заголовками: “Вопросы культуры речи”, “Нормы культурной речи”, “Культура речи”, “О культуре русской речи”, “Культура речи и стиль” и снова “Культура речи”, и каждая из них борется за правильную, чистую русскую речь [См., например: В.Д. Кудрявцев, Культура речи (Иркутск); С.К. Евграфов, О культуре речи (Пенза); Г.И. Рихтер, Нормы литературной речи, по преимуществу разговорной (Донецк) и мн. др.].

Академия наук СССР стала выпускать под руководством профессора С.И. Ожегова популярную серию сборников “Вопросы культуры речи”. К широкому обсуждению этих

вопросов редакция стремится привлечь педагогов, писателей, научных, технических и театральных работников.

Самое слово *СЛОВО* стало одним из актуальнейших слов. Это видно даже по заголовкам тех книг, которые в таком изобилии появились в последние годы: “Путь слова” Л. Борового, “Слово о словах” Льва Успенского, “В мире слов” Б. Казанского, “Из жизни слов” Эд. Вартаньяна и т. д.

Причем в большинстве случаев все это не какие-нибудь скороспелки: в их основе — многолетние раздумья над прихотливыми судьбами русского слова. И Боровой, и Казанский, и Успенский любовно собрали — “по зернышку” — огромный языковой материал. Необычайная новизна их исследований заключается в том, что эти исследования предназначены не для специалистов-филологов, а для самой широкой читательской массы, чего еще никогда не случалось в былые эпохи.

Это показывает, что широкие массы — впервые за всю историю русской культуры — страстно заинтересовались своим родным языком и жаждут во что бы то ни стало понять, каков его исторический путь, каковы его законы и требования.

Каждую из этих книг я назвал бы “Занимательная лингвистика”, так как они принадлежат к той же категории популярных изданий, что “Занимательная химия”, “Занимательная геометрия”, “Занимательная физика”, которые пользуются у нас заслуженной славой. Их главная задача не столько в том, чтобы приобщить читателя к теоретическим течениям и веяниям современной лингвистики, сколько в том, чтобы научить его думать о родной речи, о ее красотах, причудах и принципах.

От большинства популяризаторских книг книги Борового, Казанского, Успенского отличаются тем, что они не пересказывают фактов и сведений, полученных из вторых рук. Нет, это книги творческие. Боровой, например, в своих чрезвычайно интересных этюдах по истории советской лексики опирается исключительно на свои разыскания. Это в полном смысле слова научные книги, но обращены они к неискушенным читателям — простым советским людям, которые сроду не занимались никакой филологией. Такова же прелестная книга Измаила Уразова “Почему мы так говорим”.

В первый раз за все время существования лингвистики она вышла из профессорских кабинетов на улицу, завладевает умами людей, никогда не интересовавшихся ею.

Здесь очень характерное знамение времени. С какой жадностью современный читатель набрасывается на подобные книги, видно хотя бы из того, что “Слово о словах” Льва Успенского выдержало в короткое время три издания, а книги Уразова и Казанского разошлись буквально в два-три дня. Столь же горячо и радушно встретил читатель изданную в городе Горьком книгу профессора А.В. Миртова “Говори правильно”, ленинградскую книгу Бориса Тимофеева “Так ли мы говорим?” и ранее изданную (в Вологде) книгу Б. Головина “О культуре русской речи”. Характерно, что и книга Казанского и книга Успенского — обе украшены множеством разнообразных картинок, среди которых немало комических. Уже одно это показывает, на какого читателя рассчитаны новые книги.

Интерес к своему языку у этого читателя отнюдь не академический, а мятежный и бурный. Об этом можно судить даже по заглавиям статей, которые печатаются теперь в таком изобилии на страницах наших газет и журналов. Одна статья названа: “Это крайне тревожно”. Другая — “Пожалейте читателя”. Третья — “Об одном позорном пережитке” и т. д. В них ни тени спокойствия. Все они полемичны и пылки.

V

Вообще в наших нынешних спорах о родном языке больше всего поразительна их необыкновенная страстность.

Чуть только дело дойдет до вопроса о том, не портится ли русский язык, не засоряется ли он такими словами, которые губят его красоту, самые спокойные люди вдруг начинают выходить из себя.

Вы только вслушайтесь, каким трагическим голосом — словно произошла катастрофа! — говорит писатель Константин Паустовский о тех мучительных чувствах, которые ему пришлось

испытать, когда до его слуха донеслись вот такие две фразы, сказанные кем-то над летней рекой:

- Закругляйтесь купаться!
- Соблюдайте лимит времени!

Едва только писатель услышал эти фразы, с ним произошло что-то страшное:

“Солнце в моих глазах померкло от этих слов. Я как-то сразу ослеп и оглох. Я уже не видел блеска воды, воздуха, не слышал запаха клевера, смеха белобрых мальчишек, удивших рыбу с моста. Мне стало даже страшно...” В своем праведном гневе (которому я, конечно, глубочайше сочувствую) писатель так пылко возненавидел того, кто произнес эту фразу, что стал обвинять его в преступном цинизме. “Я подумал, — пишет он, — до какого же холодного безразличия к своей стране, к своему народу, до какого невежества и наплевательского отношения к истории России, к ее настоящему и будущему нужно дойти, чтобы заменить живой и светлый русский язык речевым мусором” [К. Паустовский, Живое и мертвое слово. “Известия” от 30 декабря 1960 года.]. Как бы ни относиться к этим резким суждениям писателя о двух фразах, услышанных им, нельзя не видеть, что суждения эти чрезвычайно характерны для тех горячих, тревожных, я бы сказал: неистовых чувств, которыми так часто бывают окрашены все нынешние наши разговоры и споры о родном языке.

Другой писатель, Борис Лавренев, выражает свою ненависть к подобным словам еще более пылко и страстно.

“Мне физически больно, — пишет он, — слышать изуродованные русские слова: *учёба* вместо “учение”, *глажка* вместо “глаженье”, *зачитать* вместо “прочсть” или “прочитать”. Люди, которые так говорят, — это убийцы великого, могучего, правдивого и свободного русского языка, на котором так чисто, с такой любовью к его живому звучанию говорил и писал Ленин” [Б. Лавренев, Автобиография. «Новый мир», 1959, № 4, стр. 67.]. Достаточно вспомнить, с какой непримиримой враждебностью относился покойный Федор Васильевич Гладков ко всякому, кто, например, ставил неправильные ударения в слове *реку* или употреблял выражение *пара минут, пара дней*. Как-то около месяца я провел с ним в больнице и с большим огорчением вспоминаю теперь, какой у него сделался сердечный припадок, когда один из больных (по образованию геолог) вздумал защищать перед ним слово *учёба*, к которому Федор Васильевич питал самую пылкую ненависть.

Таких случаев я наблюдал очень много. Люди стонут, хватаются за сердце, испытывают лютые муки, когда в их присутствии так или иначе уродуется русская речь.

Причем замечательно, что наряду с уродливыми словами и фразами они зачастую ненавидят и тех, кто ввел этих уродов в свою речь.

— Я бы ей, мерзавке, глаза выцарапала, — сказала одна старая женщина (обычно весьма добродушная), когда услышала, как некая дева с искренним восторгом закричала подруге:

— Смотри, какие *шикарные похороны* !

Дева действительно была воплощением пошлости: ее восклицание *шикарные похороны* носило на себе отпечаток самых затхлых низин обывательщины. За это — и только за это — старуха отнеслась к ее словам с такой злобой.

Потому что очень часто тот или иной речевой оборот бывает нам люб или гадок не сам по себе, но главным образом в связи с той средой, которая породила его.

О подобных случаях хорошо говорил еще в 20-х годах один из талантливейших наших филологов.

“Это, — говорил он, — борьба не против слова, а против того, что за ним: против душевной пустоты, против попытки заткнуть словом прорехи мысли и совести” [А.Г. Горнфельд, Муки слова. М.-Л., 1927, стр. 205.]. И более подробно — о том же: “Чаще всего наше чувство протестует не столько против самих словечек, сколько против того, что за ними. Их неточность и неправильность, их безграмотность и чужеродность не были бы так несносны, если бы не были очевиднейшим выражением внутренней пошлости и кривляния, неискренности и легкости в мыслях необычайной” [Там же, стр. 196.]. Вот в какой атмосфере раскаленных страстей уже с 20-30-х годов происходят у нас разговоры о красоте и уродствах нашей речи. “Пошлость”, “кривляние”, “неискренность”, “душевная пустота”, “прорехи мысли и совести” — разве не видно по этим сердитым словам, какие необузданные, бурные чувства

вызывают во многих сердцах споры о родном языке?

До какого накала дошли они нынче, я убедился, так сказать, на собственном опыте.

Стоило мне напечатать в “Известиях” небольшую статью о некоторых тенденциях современного языкового развития, и я получил от читателей сотни взволнованных писем, где вопросы о родном языке дебатировались с беспримерной запальчивостью.

Например, московский житель Герасим Афанасьевич Бальбух, найдя в моей статье выражение, которое показалось ему неудачным, именует меня в своем письме шарлатаном и другими еще более едкими прозвищами, нисколько не опасаясь судебной ответственности.

А кандидат наук (!) Борис Вячеславович Мелас рассылает по разным инстанциям гневные статьи и заметки, упрекающие меня в дикой безграмотности, восставая против таких якобы уродливых слов, как: *мне сдается, угнездились, отшибить* и т. д., хотя, право же, они чисто русские, простые и ясные.

Вообще всем этим письмам — умным и глупым равно — свойственна повышенная эмоциональность, взволнованность. Обвиняют ли читатели неряшливый газетный жаргон, приводят ли они вопиющие примеры тех искажений, которые встречаются в речи учителей и учащихся, указывают ли на речевые погрешности радио, ясно, что для каждого из них это жгучий вопрос, который они не могут обсуждать хладнокровно.

Возьмем хотя бы те письма читателей, о которых мы сейчас говорили. Перелистываешь их и убеждаешься в тысячный раз: читатель возбужден и взбудоражен. Всюду ему мерещатся злостные искажители речи, губители родного языка. Чуть только в какой-нибудь статье или книге он заметит малейшую языковую погрешность или непривычную словесную форму, он торопится в грозном письме уличить автора этой статьи или книги в кощунственном пренебрежении к русской речи, хотя очень часто случается, что его собственная русская речь хромает на обе ноги.

Отобрав наиболее серьезные и дельные письма — их, конечно, оказалось немало, — я увидел, что суждения, которые излагаются в них, легко можно распределить по таким (очень отчетливым) рубрикам.

1. Одни читатели непоколебимо уверены, что вся беда нашего языка в иностранщине, которая будто бы вконец замутила безукоризненно чистую русскую речь. Избавление от этой беды представляется им очень простым: нужно выбросить из наших книг, разговоров, статей все нерусские, чужие слова — все, какие есть, и наш язык тотчас же вернет себе свою красоту. Эти борцы с иностранщиной настроены очень воинственно, и когда я позволил себе насмешливо выразиться о каком-то литературном явлении *снобизм* и назвать какое-то музыкальное произведение *опус*, я был во множестве писем осыпан упреками за свое пристрастие к иноязычным словам.

2. Другие читатели требуют, чтобы мы спасли нашу речь от чрезмерного засилья вульгаризмов — таких, как *лабуда, шмакодявка, буза, на большой палец, железно* и пр.

3. Третьи видят главную беду языка в том, что он чересчур засорен диалектными, областными словами.

4. Четвертые, напротив, негодуют, что мы слишком уж строги к областным диалектам и гоним из литературного своего обихода такие живописные речения, как *лонись, осенесь, кортомыга, невздоха*, а также старорусские: *всуе, доколе*.

5. У пятых еще сохранились обывательские, ханжеские, чистоплюйские вкусы: им хочется, чтобы русский язык был жеманнее, subtilнее, чопорнее. Увидев в какой-нибудь книге такие слова, как *подлюга*, или *шши*, или *дрыхнуть*, они готовы кричать караул и пишут автору упреки за то, что он позволяет себе бесчестить и уродовать русский язык.

Прочтя в моей статье слово “пакостный”, новочеркасский пенсионер П. Тимофеев поспешил сделать мне начальственный выговор: “это слово не должно быть (так и написано: **не должно быть** . — *К. Ч.*) в разговоре, а тем более в печати, в серьезной статье”.

А бакинский читатель А. Д. Джебраймов, сделав мне такой же упрек, высказал в своем письме пожелание, чтобы русская литература была возможно скорее избавлена от тех грубостей, какие встречаются, например, в стихах Маяковского. “Разве,-пишет он,-такие выражения, как “Облако в штанах”, “Я волком бы выгрыз бюрократизм”, “Я достаю из широких штанин” и т. д., могут дать ценное для освоения русской речи?” (!?)

6. Шестые, как, например, тот же достопримечательный Мелас, возмущаются, если какой-нибудь автор употребит в своей статье или книге свежее, выразительное, неказенное слово, далекое от канцелярского стиля, который и составляет их речевой идеал. И таких читателей немало. Требования подобных читателей можно сформулировать так: побольше рутинных, трафаретных, бескрасочных слов, никаких живописных и образных!

7. Седьмые обрушиваются на сложно-составные слова, такие, как *Облуппрпромпродтовары*, *Ивгосивейтрикотажупр*, *Урггоррудметпромсоюз* и т. д. Причем заодно достается даже таким, как *ТЮЗ*, *Детгиз*, *диамат*, *биофак*.

Конечно, трогательна эта забота современных читателей о своем родном языке, о его процветании, красоте и здоровье.

Но можно ли считать безупречными поставленные ими диагнозы? Нет ли здесь какой-нибудь невольной ошибки? Ведь в медицине это случалось не раз: лечили от мнимой болезни, а подлинной не распознали, не заметили. И пациенту приходилось своею жизнью расплачиваться за такие заблуждения медиков.

Хорошо сказано об этом у того же Горнфельда, которого так высоко ценили Короленко и Горький.

“Вдруг, — говорит он, — на основании двух-трех случайных наблюдений, без всякого углубления в смысл явлений, раздается патриотический, националистический, эстетский или барственный стон: язык в опасности, — и забивший тревогу может быть уверен, что если не соответственным действием, то, во всяком случае, вздохом сочувствия откликнутся на его призыв десятки огорченных душ, столь же недовольных новизной и столь же мало способных разобраться в том, что же в ней действительно дурно и что необходимо» [21]. Никто не спорит: наша нынешняя русская речь действительно нуждается в лечении. К ней уже с давнего времени привязалась одна довольно неприятная хворь, исподволь подтачивающая ее могучие силы. Но на эту хворь редко обращают внимание. Зато неумоимо и самонадеянно лечат больную от несуществующих, воображаемых немощей.

Это очень легко доказать. Нужно только подробно, внимательно, с полным уважением к читателю рассмотреть один за другим те недуги, от которых нам предлагают спасти наш язык.

К такому рассмотрению мы и приступаем теперь.

Глава третья “ИНОПЛЕМЕННЫЕ СЛОВА”

I

Первым и чуть ли не важнейшим недугом современного русского языка в настоящее время считают его тяготение к иностранным словам.

По общераспространенному мнению, здесь-то и заключается главная беда нашей речи.

Действительно, эти слова могут вызвать досадное чувство, когда ими пользуются зря, бестолково, не имея для этого никаких оснований. И да будет благословен Ломоносов, благодаря которому иностранная *перпенди* кула сделалась *маятником*, из *абриса* стал *чертеж*, из *оксигениума* — *кислород*, из *гидрогениума* — *водород*, а *бергверк* превратился в *рудник*,

И, конечно, это превосходно, что такое обрусение слов происходит и в наши дни, что *аэроплан* заменился у нас *самолетом*, *геликоптер* — *вертолетом*, *грузовой автомобиль* — *грузовиком*, *митральеза* — *пулеметом*, *думпка* — *самосвалом*, *голкипер* — *вратарем*, *шофер* — *водителем* (правда, еще не везде).

И, конечно, я с полным сочувствием отношусь к протесту писателя Бориса Тимофеева

против казенно-иностранный словца *пролонгировать*, которое и в самом деле отдает канцелярией [Б. Тимофеев, Правильно ли мы говорим? Л., 1960, стр. 94.].

Точно так же, думается мне, прав этот автор, восставая против слова *субпродукты*, которые при ближайшем исследовании оказались русской *требухой* [Б. Тимофеев, Правильно ли мы говорим? Л., 1960, стр. 98.].

И как не радоваться, что немецкое *фриштиткать*, некогда столь популярное в обиходе столичных (да и провинциальных) чиновников, всюду заменилось русским *завтракать* и ушло б из нашей памяти совсем, если бы не сбереглось в “Ревизоре”, а также в “Скверном анекдоте” Достоевского:

“А вот посмотрим, как пойдет дело после *фриштитка* да бутылки толстобрюшки!” (“Ревизор”).

“Петербургский русский никогда не употребит слово “завтрак”, а всегда говорит: *фриштитк*, особенно напирая на звук “фры” (“Скверный анекдот”).

Точно так же не могу я не радоваться, что французская *индижестия*, означавшая несварение желудка, сохранилась теперь только в юмористическом куплете Некрасова:

Питаюсь чуть не жестию,
Я часто ощущал
Такую *индижестию*,
Что умереть желал, -

да на некоторых страницах Белинского. Например:

“Ну, за это надо извинить высшее общество: оно несомненно деликатно и боится *индижестии*” [В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX, 1956, стр. 228.].

И кто не разделит негодования Горького по поводу сплошной иностранщины, какой до недавнего времени часто щеголяли иные ораторы, как, например, “тенденция к аполитизации дискуссии”, которая в переводе на русский язык означает простейшую вещь: “намерение устранить из наших споров политику” [М. Горький, О литературе. Соч., т. 25, стр. 260-261.].

Маяковский еще в 1923 году выступал против засорения крестьянских газет такими словами, как *апогей* и *фиаско*. В своем стихотворении “О фиасках, апогеях и других неведомых вещах” он рассказывает, что крестьяне деревни Акуловки, прочтя в газете фразу: “Пуанкаре терпит фиаско”, решили, что Фиаско — большая персона, недаром даже французский президент его “терпит”:

Американец, должно.

Понимаешь, дура.

А насчет *апогея* красноармейцы подумали, что это название немецкой деревни. Стали искать на географической карте:

Верчусь, —
аж дыру провертел в сапоге я, —
не могу найти никакого Апогея.

II

Но значит ли это, что иноязычные слова, иноязычные термины, вошедшие в русскую речь, всегда, во всех случаях плохи? Что и *апогей* и *фиаско*, раз они не понятны в деревне Акуловке, должны быть изгнаны из наших книг и статей Навсегда? А вместе с ними неисчислимое множество иноязычных оборотов и слов, которые давно уже усвоены нашими предками?

Имеем ли мы право решать этот вопрос по-шишковски [А. С. Шишков (1754-1841) — автор реакционной книги «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка».] сплеча: к черту всякую иностранщину, какова б она ни была, и да здравствует химически чистый, беспримесный, славяно-русский язык, свободный от латинизмов, галлицизмов, англицизмов и прочих кощунственных *измов* ?

Такая шишковщина, думается мне, просто невысказана, потому что, чуть только мы вступим на эту дорогу, нам придется выбросить за борт такие слова, унаследованные русской культурой от древнего Рима и Греции, как *республика, диктатура, амнистия, милиция, герой, супостат, пропаганда, космос, атом, грамматика, механика, тетрадь, фонарь, лаборатория* и т.д., и т.д., и т.д.

А также слова, образованные в более позднее время от греческих и латинских корней: *геометрия, физика, зоология, интернационал, индустриализация, политика, экономика, стратосфера, термометр, телефон, телеграф, телевизор.*

И слова, пришедшие к нам от арабов: *алгебра, альманах, алкоголь.*

И слова, пришедшие от тюркских народов: *ирмяк, артель, аршин, балаган, бакалея, базар, башмак, болван, караул, кутерьма, чулан, чулок.*

И слова, пришедшие из Италии: *почта, купол, кабинет, бюллетень, скарлатина, газета, симфония, соната, касса, кассир, галерея, балкон, опера, оратория, тенор, сопрано, сценарий* и др.

И слова, пришедшие из Англии: *митинг, бойкот, клуб, чемпион, рельсы, руль, агитатор, лидер, спорт, вокзал, ростбиф, бифштекс, хулиган* и т.д.

И слова, пришедшие из Франции: *наивный, серьезный, солидный, массивный, эластичный, репрессия, депрессия, партизан, декрет, батарея, сеанс, саботаж, авантюра, авангард, кошмар, блуза, бронза, метр, сантиметр, декада, парламент, браслет, пудра, одеколон, вуаль, котлета* и т.д.

И слова, пришедшие из Германии: *бутерброд, шлагбаум, брудершафт, бухгалтер, вексель, штраф, флейта, мундир* [Подробнее об этом см. *Б. Казанский, В мире слов. Л., 1958, стр. 119-179, и К. Былинский, Практическая стилистика языка газеты (в книге “Язык газеты”. М., 1941, стр. 151-152).*]

Не думаю, чтобы нашелся чужак, который потребовал бы, чтобы мы отказались от этих нужнейших и полезнейших слов, давано ощущаемых нами как русские.

Почему же в стране, где весь народ принял и превосходно усвоил такие иноязычные слова, как *революция, социализм, коммунизм, пролетарий, капитализм, буржуй, саботаж, интернационал, агитация, демонстрация, мандат, комитет, милиция, империализм, колониализм, марксизм,* и не только усвоил, а сделал их русскими, родными, все еще находятся люди, которые буквально дрожат от боязни, как бы в богатейшую, самобытную русскую речь, не дай бог, не проникло еще одно слово с окончанием *ация, ист* или *изм*.

Такие страхи бессмысленны хотя бы уже потому, что в настоящее время окончания *ация, изм* и *ист* ощущаются нами как русские: очень уж легко и свободно стали они сочетаться с чисто русскими коренными словами — с такими, как, например, *правда, служба, очерк, связь, отозвать* и др., — отчего сделались возможны следующие — прежде невысказанные — русские формы: *правдист, связист, очеркист, уклонист, отзовист, службист, значкист* [То же происходит и с английской речью, в которой сравнительно недавно возникли слова *маникюрист, бихевиорист* и т.д. См. книгу проф. Simeon Potter's “Our Language”, 1957, стр. 165.]

Из чего следует, что русские люди мало-помалу привыкли считать суффикс *ист* не чужим, а своим, таким же, как *тель* или *чик* в словах *извозчик, служитель* и пр.

Даже древнее русское слово *баян* и то получило в народе суффикс *ист* : *баянист*.

Вот до какой степени активизировалось окончание *нет*, каким живым и понятным для русского уха наполнилось оно содержанием. Окончательно убедил меня в этом один пятилетний мальчишка, который, впервые увидев извозчика, с восторгом сказал отцу:

— Смотри, *лошадист* поехал!

Мальчик знал, что на свете существуют трактористы, танкисты, таксисты, велосипедисты, но слова *извозчик* никогда не слышал и создал свое: *лошадист* [Корней Чуковский, От двух до пяти. М., 1961, стр. 143.].

И кто после этого может сказать, что суффикс *ист* не обрусел у нас окончательно! Его смысл ощущается даже детьми, и не мудрено, что он становится все продуктивнее.

Так же обрусел суффикс *изм*. Вспомним: *большевизм, ленинизм*. В сочинениях В.И. Ленина: *боевизм*. Академик В.В. Виноградов указывает, что в современном языке этот

суффикс “широко употребляется в сочетании с русскими основами, иногда даже яркой разговорной окраски: *хвостизм, наплеvizм*” [В.В. Виноградов, Русский язык. М.-Л., 1947, стр. 111.].

К этим словам можно присоседить *мещанизм*, ставший устойчивым лингвистическим термином [См., например, в книге Р. В. Миртова “Говори правильно”. Горький, 1961, стр. 7.]. И *царизм*.

Или вспомним, например, иностранный суффикс *тори (я)* в таких словах, как *оратория, лаборатория, консерватория, обсерватория* и т.д. и т.д. Не замечательно ли, что даже этот суффикс, крепко припаянный к иностранным корням, настолько обрусел в последнее время, что стал легко сочетаться с исконно русскими, славянскими корнями. По крайней мере у Александра Твардовского в знаменитой “Муравии” вполне естественно прозвучало крестьянское словцо *суетория*.

Конец предвидится ан нет
Всей этой *суетории*?

Суффикс *аци(я)* также вполне обрусел: русское ухо освоилось с такими словами, как *яровизация, военизация, советизация, большевизация* и пр. Л. М. Копенкина пишет мне из города Верхняя Салда (Свердловской обл.), что ее сын, пятилетний Сережа, услышав от нее, что пора подстригать ему волосы, тотчас же спросил у нее:

— Мы в *подстригацию* пойдем? Да?

Обрусение суффикса *аци(я)* происходит одновременно с обрусением суффикса *аж (яж)*. Недавно, репетируя новую пьесу, некий режиссер предложил своей труппе:

— А теперь для *оживляжа* — перепляс.

И никто не удивился этому странному слову. Очевидно, оно наравне с *реагажем* так прочно вошло в профессиональную терминологию театра, что уже не вызывает возражений.

В “Двенадцати стульях” очень по-русски прозвучало укоризненное восклицание Бендера, обращенное к старику Воробьянинову: “Нашли время для *кобеляжа*. В вашем возрасте *кобелировать* просто вредно” [Илья Ильф, Евгений Петров, Двенадцать стульев. Золотой теленок. М., 1959, стр. 277.].

Кобеляж находится в одном ряду с такими формами, как *коллуяж, подхалимаж* и др. [В. Виноградов, Русский язык. М.-Л., 1947, стр. 98.]. Из чего следует, что экспрессия иноязычного суффикса *аж (яж)* вполне освоена языковым сознанием русских людей.

Очень верно говорит современный советский лингвист:

“Если оставить в стороне научные и технические термины и вообще книжные “иностраные” слова, а также случайные и мимолетные модные словечки, то можно смело сказать, что наши “заимствования” в большинстве вовсе не пассивно усвоенные, готовые слова, а самостоятельно, творчески освоенные или даже заново созданные образования” [Б. Казанский, В мире слов. Л., 1958, стр. 143.]. В этом и сказывается подлинная мощь языка. Ибо не тот язык по-настоящему силен, самобытен, богат, который боязливо шарахается от каждого чужеродного слова, а тот, который, взяв это чужеродное слово, творчески преобразует его, самовластно подчиняя своей собственной воле, своим собственным эстетическим вкусам и требованиям, благодаря чему слово приобретает новую экспрессивную форму, какой не имело в родном языке.

Напомню хотя бы новоявленное слово *стиляга*. Ведь как создалось в нашем языке это слово? Взяли древнегреческое, давно обруселое *стиль* и прибавили к нему один из самых выразительных русских суффиксов: *яг(а)*. Этот суффикс далеко не всегда передает в русской речи экспрессию морального осуждения, презрения. Кроме *сутяги, бродяги*, есть *миляга, работяга* и *бедняга*. Но здесь этот суффикс становится в ряд с неодобрительными *ыга, юга, уга* и пр., что сближает *стилягу* с такими словами, как *прощельяга, подлюга, ворюга, хануга, выжига* [См.: В.В. Виноградов, Русский язык. М.-Л., 1947, стр. 75-76. В. Г. Костомаров, Откуда слово “стиляга”? “Вопросы культуры речи”, 1959, №2, стр. 168-175.].

Спрашивается: можно ли считать это слово иноязычным, заимствованным, если русский язык при помощи своих собственных — русских — выразительных средств придал ему свой

собственный — русский — характер?

Этот русский характер подчеркивается еще тем обстоятельством, что в иашей речи свободно бытуют и такие чисто русские национальные формы, как *стиляжный*, *стиляжничают*, *достияжиться* и т.д., и т.д., и т.д.

— Вот ты и *достияжился!* — сказал раздраженный отец своему щеголеватому сыну, когда тот за какой-то зазорный поступок угодил в отделение милиции.

Или слово *интеллигенция*. Казалось бы, латинское его происхождение бесспорно. Между тем оно изобретено русскими (в 70-х годах) для обозначения чисто русской социальной прослойки, совершенно неведомой Западу, ибо интеллигентом в те давние годы назывался не всякий работник умственного труда, а только такой, быт и убеждения которого были окрашены идеей служения народу [Реакционные журналисты Погодин, Шевырев, Катков, князь Мещерский вполне подходили под рубрику “работники умственного труда”, но никому и в голову не пришло бы в 70-х годах назвать кого-нибудь из них интеллигентом.]. И, конечно, только педанты, незнакомые с историей русской культуры, могут относить это слово к числу иноязычных, заимствованных.

Иностранные авторы, когда пишут о нем, вынуждены переводить его с русского: “*intelligentsia*”. “Интеллидженсия”, — говорят англичане, взявшие это слово у нас. Мы, подлинники создатели этого слова, распоряжаемся им как своим, при помощи русских окончаний и суффиксов: *интеллигентский*, *интеллигентность*, *интеллигентщина*, *интеллигентничать*, *полуинтеллигент* ².

Русский язык так своенравен, силен и неутомим в своем творчестве, что любое чужеродное слово повернет на свой лад, оснастит своими собственными, гениально-экспрессивными приставками, окончаниями, суффиксами, подчинит своим вкусам, а порою и прихотям. Очень верно говорит Илья Сельвинский “о редкой способности русского населения быстро воспринимать чужеземную речь и по-хозяйски приспособлять ее к своему обиходу”.

“Переработка эта, — продолжает поэт, — делала иностранное слово до такой степени отечественным, что теперь бывает трудно поверить в его инородное происхождение. Например, немецкие слова *бэр* (медведь) и *лох* (дыра) образовали такое, казалось бы, кондовое русское слово, как *берлога*. Этим еще больше подчеркивается мощь русского языка” [Илья Сельвинский, Язык народа — язык поэзии. “Вопросы литературы”, 1961, № 5, стр. 174.].

Действительно, иногда и узнать невозможно то иноязычное слово, которое попало к нему в оборот: из греческого *кирие элейсон* (господи помилуй!) он сделал глагол *куролесить* [Труды Я. К. Грота, т. II, стр. 413.], греческое *ката басис* (особенный порядок церковных песнопений) превратил в *катавасию* [В. Даль, т. II, стр. 238.], то есть церковными “святыми” словами обозначил дурачество, озорство, сумбур. Из латинского *картулярия* (монастырский хранитель священных книг) русский язык сделал *халтурущика* — недобросовестного, плохого работника [Л. Я. Боровой, Путь слова. М., 1957, стр. 193-194.]. Из скандинавского *эмбэтэ* — чистокровную русскую *ябеду* [Б. Казанский, В мире слов. Л., 1958.], из английского *ринг ды делл!* — *рынду бей* [Лев Успенский, Слово о словах. М., 1957.], из немецкого *крингеля* — крендель [Труды Я. К. Грота, т. II, стр. 431.].

Язык чудотворец, силач, властелин, он так круто переиначивает по своему произволу любую иноязычную форму, что она в самое короткое время теряет черты первородства, — не смешно ли дрожать и бояться, как бы не повредило ему какое-нибудь залетное чужеродное слово!

В истории русской культуры уже бывали эпохи, когда вопрос об иноязычных словах становился так же актуален и жгуч, как сейчас.

Такой, например, была эпоха Белинского — 30-е и особенно 40-е годы минувшего века,

² Журналист И. Смирнов придумал забавное слово для обозначения особо усердной «демократической» прослойки — *простилигенция*. — V.V. Или слово *шеф* — уж до чего иностранное! Оно даже не слишком-то ладит с нашей русской фонетикой. Но можно ли говорить, что мы пассивно ввели его в свой лексикон, если нами созданы такие чисто русские формы, как *шефство*, *шефствовать*, *шефский*, *подшефный* и пр.?

когда в русский язык из-за рубежа ворвалось множество новых понятий и слов. Полемика об этих словах велась с ожесточенною страстью. Белинский всем сердцем участвовал в ней и внес в нее много широких и мудрых идей, которые и сейчас могут направить на истинный путь всех размышляющих о родном языке. (См., например, его статьи “Голос в защиту от «Голоса в защиту русского языка»”, “Карманный словарь иностранных слов”, “«Грамматические разыскания», соч. В.А. Васильева”, “«Северная пчела» — защитница правды и чистоты русского языка”, “Взгляд на русскую литературу 1847 года” и многие другие.)

К сожалению, сложная позиция Белинского в этом сложном вопросе изображается в большинстве случаев чрезвычайно упрощенно. Не знаю, в силу каких побуждений пишущие о нем зачастую выпячивают одни его мысли и скрывают от читателей другие.

Получается зловердная ложь о Белинском, искажающая подлинную суть его мыслей.

Чтобы понять эти мысли во всем их объеме, мы должны раньше всего ясно представить себе, какие необычайные сдвиги происходили тогда в языке и, в частности, как огромно было количество иностранных оборотов и слов, вторгшихся в тогдашнюю русскую речь.

Их вторжение страшно тревожило и пугало реакционных пуристов, которые из недели в неделю, из месяца в месяц стихами и прозой выражали свою свирепую ненависть к ним. Над этими словами глумились даже на театральных подмостках.

Вот, например, какую дикую мозаику составил из них некий разъяренный пурист, выхвативший их из журнальных статей того времени:

“Абсолютные принципы нашей рефлексии довели нас до френтического состояния, иллюзируя обыкновенную субстанциональность и простую реальность силою реактивного идеализирования с устранением изолирования предметов. Гуманные элементы мелочного анализа, так сказать, будучи замкнуты в грандиозности мировых феноменов жизни, сосредотачиваются в индивидуальной единичности. Отторгаясь от своих субъективных интересов, личность наша стремится в мир объективных фактов и идей, и здесь-то доктрина умов великих, универсальных, здесь-то виртуозность творения достигает своих высоких результатов”. “И это русский язык половины XIX века! — ужасался блюститель чистоты русской речи. — Читаем — и не верим глазам. Что бы сказали, если б жили, А.С. Шишков и другие поборники русского слова, что бы сказал Карамзин!” [“Северная пчела”, 1847, № 69.]

Конечно, такой бессмысленной фразеологии в журналистике того времени не было и быть не могло, но самые слова, которые воспроизводятся здесь, переданы верно и точно: чуть не в каждой книжке “Отечественных записок” действительно встречались в ту пору *принципы, субъекты, элементы, гуманность, прогресс, универсальный, виртуозный, талантливый, доктрина, рефлексия* и т.д.

Против этой-то иностранщины и заявил свой протест автор вышеприведенной “мозаики”.

Сильно изумится современный читатель, узнав, что этим поборником русского слова был пресловутый мракобес Фаддей Булгарин, реакционнейший журналист той эпохи, который сам-то очень плохо владел русской речью и постоянно коверкал ее в своих романах и бесчисленных газетных статьях.

А тем писателем, от “варваризмов” которого Фаддей Булгарин защищал эту речь, был гениальный стилист Белинский, один из сильнейших мастеров русского слова.

В ту пору Белинский из пламенной любви к русской речи упорно внедрял в нее философские и научные иностранные термины, так как видел здесь одну из последних задач своего служения интересам народа.

Именно эта задача заставила Белинского высказывать в своих статьях сожаление, что в русском языке еще не вполне утвердились такие слова, как *концепция, ассоциация, шанс, атрибут, эксплуатировать, реванш, ремонтировать* и т.д.

Откуда же у великого критика такое упорное тяготение к иностранным словам, против которых вместе с Фаддеем Булгариным бешено восстала в ту пору вся свора реакционных писак?

Ответ на этот вопрос очень прост: такое обогащение словарного фонда вполне отвечало насущным потребностям разночинной интеллигенции 30-х и 40-х годов XIX века.

Ведь именно тогда, под могучим воздействием крестьянских восстаний в России и

народных потрясений на Западе, русские передовые разночинцы, несмотря ни на какие препоны, страстно приобщались к идеям революционной Европы, и им понадобилось огромное множество слов для выражения этих новых идей.

Рядом с Белинским над обогащением национального словаря трудились такие революционеры, как Петрашевский и Герцен. Петрашевский в своем знаменитом “Карманном словаре иностранных слов” (1845) утвердил в русском литературном обиходе слова: *социализм, коммунизм, терроризм, материализм, фурыеризм* и пр. [А. И. Дубяго, Иноязычная лексика в языке М. В. Буташевича-Петрашевского. Ученые записки Калининградского пединститута, вып. VII, 1960, стр. 103-121.].

Герцен приучил читателя к таким еще не установившимся терминам, как *эмпиризм, национализм, политеизм, феодализм* и пр.

Без этого колоссального расширения русской лексики была бы невозможна пропагандистская работа Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Вооружив русскую публицистику, русскую философию и критику этими важнейшими терминами, Белинский, Петрашевский и Герцен совершили великий патриотический подвиг, ибо благодаря им “народные заступники” 40-60-х годов могли наиболее полно выражать свои стремления и чаяния.

Здесь была бессмертная заслуга Белинского. Не прошло и двадцати лет с той поры, как Пушкин с огорчением писал, что “ученость, политика, философия по-русски еще не изъяснялись” [А. С. Пушкин, Соч. М., 1949. Заметка, начинающаяся словами: “Причинами, замедлившими ход нашей словесности...”, стр. 711.], — и вот они наконец-то заговорили по-русски, вдохновенно и ярко.

Этого настоятельно требовали передовые деятели русской культуры. Декабрист Александр Бестужев с огорчением писал еще в 1821 году: “Можно ли найти в «Летописи» Несторовой термины физические или философские?.. Нет у нас языка философского, нет номенклатуры ученой” [Соревнователь просвещения и благотворения”, 1821, ч. 13, кн. 2, стр. 306-307. Цитирую по сб. “Русские писатели о языке”. Л., 1954, стр. 138.].

И вот, наконец, долгожданный язык появился. Нанесен ли этим хоть малейший ущерб русскому национальному чувству? Напротив. Справедливо говорит современный советский исследователь:

“Чуждый низкопоклонства перед Западом, подлинный и страстный патриот, веривший в могучие силы и величье русского народа, Белинский понимал, что иноязычные слова, в которых имеется настоящая потребность, не смогут ослабить самобытность русского языка и принизить достоинство русского народа. Он понимал, что “опекуны слова”, неистовствуя против иноязычных слов, проявляют ложный патриотизм” [А. Ф. Ефремов, Белинский и русский литературный язык. Ученые записки Саратовского государственного университета, т. XXXI. Саратов, 1952, стр. 222.]. “Бедна та народность, — писал Белинский в 1844 году, — которая трепещет за свою самостоятельность при всяком соприкосновении с другою народностью”.

“Наши самозванные патриоты, — настаивал он, — не видят в простоте ума и сердца своего, что, беспрестанно боясь за русскую национальность, они тем самым жестоко оскорбляют ее...” “Естественное ли дело, чтобы русский народ... мог утратить свою национальную самобытность?.. Да это нелепость нелепостей! Хуже этого ничего нельзя придумать” [В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII. М., 1953-1959, стр. 436.].

Между тем, повторяю, новейшие наши пуристы, не считаясь с реальными фактами, демагогически внушают легковверным читателям, будто Белинский только и делал, что протестовал против “обиностранивания” русской писательской речи.

Этого не было. Дело было, как видим, совсем наоборот.

Протестовали против иностранных речений представители самой черной реакции, о чем свидетельствует, например, такой документ, как секретная записка шефа жандармов графа Алексея Орлова, представленная царю в 1848 году.

В этой записке о Белинском и писателях его направления сказано, что

“...вводя в русский язык без всякой надобности (!) новые иностранные слова, например, *принципы, прогресс, доктрина, гуманность* и проч., они портят наш язык и с тем вместе

пишут темно и двусмысленно; твердят о современных вопросах Запада, о «прогрессивном образовании», разумея под прогрессом постепенное знакомство с теми идеями, которые управляют современной жизнью цивилизованных обществ..., но в молодом поколении они могут поселить мысль о политических вопросах Запада и коммунизме» [М. Лемке, Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг. СПб, 1909, стр. 176.]. Страх перед «политическими вопросами» революционного Запада и особенно перед «призраком коммунизма», который уже начал «бродить по Европе», внушил этому защитнику душегубной монархии притворную заботу о чистоте языка.

Можно не сомневаться, что Булгарин и вся его клика, все эти Гречи, Межевичи, Бранты, вопили в десятках статей о засорении языка иностранщиной по прямым и косвенным указаниям охраны.

Белинский отдавал себе полный отчет, какие классовые интересы скрываются под их заботой о чистоте языка, и, невзирая на цензурные рогатки, громко обличал лицемеров.

«Есть еще, — писал он, — особенный род врагов «прогресса» — это люди, которые тем сильнейшую чувствуют к этому слову ненависть, чем лучше понимают его смысл и значение. Тут уж ненависть собственно не к слову, а к идее, которую оно выражает» [В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X. М., 1953-1959, стр. 280-281.]. А также к людям той социальной формации, которая является носителем этой идеи.

Поэтому нельзя говорить, будто иноязычные слова всегда, во всех случаях плохи или всегда, во всех случаях хороши. Вопрос о них невозможно решать изолированно, в отрыве от истории, от обстоятельств места и времени, так как многое здесь определяется раньше всего политическими тенденциями данной эпохи.

Одно время Белинский даже допускал в этой области большие излишества, так не терпелось ему возможно скорее приобщить образованную часть русского общества к передовой философской и публицистической лексике.

Он и сам признавался не раз, что его пристрастие к иноязычным словам было иногда чересчур велико. Еще в 1840 году в письме к Боткину он утверждал, что «*конкретности и префлексии*, (выделено мной. — *К.Ч.*) исключаются (из его журнала. — *К.Ч.*) решительно, кроме ученых статей» [В. Г. Белинский, М., 1953-1959, стр. 505.].

Но долго не выдерживал зарока и снова возвращался к той же лексике, утешая себя тем, что «читающая публика «уже привыкает к новости (то есть к его излюбленным философским и политическим терминам. — *К.Ч.*), и то, что казалось ей диким, становится уже обыкновенным» (то есть внедряется в сознание передовой молодежи, входит в состав ее словарного фонда. — *К.Ч.*) [В. Г. Белинский, М., 1953-1959, т. IX, стр. 505.].

Здесь будет уместно на минуту вернуться к тому приговору, который, как мы видели, князь Петр Вяземский вынес двум очень хорошим словам: *талантливый* и *бездарный*.

Князь Вяземский назвал эти слова площадными, заимствованными из жаргона лабазников.

Между тем даже и представить себе невозможно, чтобы в лабазах, где больше всего говорили о деньгах, товарах, пудах и мешках, могли зародиться такие понятия, как *талант* и *бездарность*, Петербургские и московские площади, с их дворниками, извозчиками, солдатами, будочниками, тоже не имели потребности делить своих прохожих и проезжих на *талантливых* и *бездарных*.

Но мысль князя Вяземского все же понятна. Он хотел сказать, что эти слова — низовые, плебейские, что они вошли в литературу, так сказать, с черного хода, из ненавистной ему, князю Вяземскому, демократической, разночинной среды.

Для охранителя дворянской монархии эти слова отвратительны именно тем, что они возникли во вражеском лагере. Поэтому и только поэтому они кажутся ему жаргонными, уличными, недостойными войти в литературный язык. Вражеским лагерем была для князя Вяземского литературная школа, возглавлявшаяся в ту пору Белинским, к которому он до конца своей жизни относился с неугасающей злобой, вполне справедливо считая его «баррикадником».

«Белинский, — говорил он впоследствии, — был не что иное, как литературный бунтовщик, который за неимением у нас места бунтовать на площади бунтовал в

журналах” [«Русский архив», 1885, № 6, стр. 317-318.].

Здесь-то и заключалась основная причина ненависти Вяземского к неологизмам великого критика.

IV

Нынешние наши пуристы любят цитировать строки Белинского, написанные им незадолго до смерти:

“Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания противна здравому смыслу и здравому вкусу...”. “Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус”. При этом постоянно указывается, что Белинский горячо осуждал употребление иностранного слова *утрировать* и требовал, чтобы вместо этого слова употребляли русское-*преувеличивать*.

Но любители подобных цитат почему-то умалчивают, что цитаты эти заимствованы ими из того самого текста, где Белинский без всяких обиняков издевается над безуспешными попытками тогдашних опекунов языка руссифицировать иноязычные слова, заменив *тротуар* — *топталлицем*, *эгоизм* — *ячеством*, *факт* — *бытом*, *инстинкт* — *побудкой* и т.д.

Эти фальсификаторы мнений Белинского равным образом предпочитают скрывать, как едко высмеивал он тех ревнителей русского слова, которые требовали, чтобы брильянты именовались *сверкальцами*, бильярд — *шаротыком*, архипелаг — *многоостровием*, фигура — *извитием*, индивидуум — *неделимым*, философия — *любомудрием* [Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX. М., 1953—1959, стр. 21.].

Белинский хорошо понимал всю ненужность и безнадежность подобных попыток обрусить эти привычные слова, которые и без того давно уже сделались русскими.

«Какое бы ни было слово, — повторял он не раз, — свое или чужое, лишь бы выражало заключенную в нем мысль, — и, если чужое лучше выражает ее, чем свое, давайте чужое, а свое несите в кладовую старого хлама» [Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VI. М., 1953—1959, стр. 214.]. Как видите, это ничуть не похоже на те узкие, однобокие мысли, какие приписывают Белинскому иные современные авторы.

Так как писатели из реакционного лагеря постоянно кричали о том, что иноязычная лексика якобы недоступна простому народу, Белинский в блестящей полемике с ними рассеял их лицемерные доводы, напомнив, что даже темные крепостные крестьяне отлично понимают такие пришлые, чужие слова, как *паспорт*, *квартира*, *солдат*, *кучер*, *маляр*, *ассигнация*, *квитанция*, *губерния*, *фабрика*, которые до того обрусели, что ощущаются как более русские, чем чисто русские слова. Например, указывал Белинский, исконно русское слово *возница* кажется русскому простолыдину гораздо более чужим, чем иностранное *кучер*.

«Что такое *алмаз* или *брильянт*, — это знает всякий стекольщик, почти всякий мужик, но что такое *сверкальцы* — этого не знает ни один русский человек» [Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX. М., 1953—1959, стр. 61.]. Замечание Белинского об иностранных словах, которые нам кажутся более русскими, чем русские слова с тем же значением, прозвучало бы для меня парадоксом, если бы мне не приходилось наблюдать такие случаи не раз.

Взять хотя бы слово *водомер*. Я читал в одной школе рассказ, где это слово встречается дважды. Иные школьники не поняли, что оно значит (двое даже смешали его с пулеметом), но один поспешил объяснить:

— *Водомер* — это по-русски сказать: *фонтан*. Фонтан они приняли за русское слово, а *водомер* за чужое.

Или другое слово: *зодчий*. Коренное старорусское слово, крепко спаянное с целой семьей таких же: *здание*, *создатель*, *созидатель*, *зиждатель* и т.д. [Труды Я. К. Грота, т. II. СПб. 1899, стр. 27.].

Но (это было в 20-х годах) прохожу я как-то в Ленинграде по улице Зодчего Росси и слышу, как один из юных сезонников спрашивает у другого, постарше: что это такое за *зодчий*?

— *Зодчий*, — задумался тот, — это по-русски сказать: *архитектор*.

Было ясно, что русское *зодчий* звучит для них обоих чужим звуком, а иностранное (с греческим корнем, с латинским окончанием) *архитектор* воспринимается как русское.

И тут я вспомнил, что в детстве я точно так же объяснял себе слово *ваятель*: был уверен, что оно иностранное и что в переводе на русский язык оно означает *скульптор*.

Это нисколько не огорчило бы великого критика, ибо он не уставал повторять:

“Что за дело, какое и чье слово, лишь бы оно верно передавало заключенное в нем понятие! Из двух сходных слов, иностранного и родного, лучшее есть то, которое вернее выражает поднятие”. “Хорошо, — пояснял он, — когда иностранное понятие само собою переводится русским словом, и это слово, так сказать, само собою принимается: тогда нелепо было бы вводить иностранное слово. Но создатель и властелин языка — народ, общество: что принято ими, то безусловно хорошо” [В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX. М., 1953—1959, стр. 61.].

V

Таким образом, говорить, будто Белинский всегда и везде ратовал за изгнание иностранных слов из русской речи, значит заведомо лгать, потому что и в теории и в собственной писательской практике он чаще всего выступал как горячий сторонник расширения словаря русской дауки, публицистики, философии, критики новыми терминами, среди которых было много иностранных.

Но изображать его безоглядным приверженцем “западной” лексики тоже никак не возможно.

То была бы еще худшая ложь, так как при всем своем тяготении к интернациональным словам, без которых было бы немисливо приобщение нашей молодой демократии к передовым идеям европейской культуры, Белинский любовно и бережно охранял русский язык от чуждых народному вкусу заимствований.

В его проникновенной лингвистике, разработанной им с изумительной тонкостью, представляющей собою стройную систему идей, больше всего поражает то “единство противоположностей”, единство двух, казалось бы, несовместимых тенденций, которое и составляет самое существо его диалектической мысли.

Никакой односторонней ограниченности в своих трудах по русской филологии Белинский никогда не допускал.

Для нас потому-то и ценно широкое гостеприимство, оказанное им иностранным словам, что сам-то он был по всему своему душевному складу одним из “самых русских людей”, каких только знала история нашей словесности. Недаром Тургенев, вспоминая о нем, так сильно подчеркивает в нем эту черту.

“Вся его повадка, — сообщает Тургенев, — была чисто русская, московская... Он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа... Да, он чувствовал русскую суть, как никто. Ни у кого ухо не было более чутко; никто не ощущал более живо гармонию и красоту нашего языка”. Далее Тургенев говорит о той “русской струе”, которая била во всем существе знаменитого критика, о том, как велико было в нем “понимание и чутье всего русского”, и затем через несколько страниц повторяет опять и опять, что Белинский был “вполне русский человек”, что “благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзвывы”.

Все это да послужит уроком нашим современным пуристам, которые даже в самом умеренном тяготении к иностранным словам видят чуть ли не измену России и в сердечной простоте полагают, что русский советский патриотизм несовместим с усыновлением иностранных речений.

Кроме того, мы должны постоянно учитывать, к какому читателю обращена та или иная литературная речь, каков его умственный уровень, какова степень его развития, образования, начитанности. Этим — в значительной степени — решается вопрос о допустимости чужезычных речений в ту или иную эпоху.

Петрашевский, Белинский и Герцен (в 40-х годах) обращались исключительно к интеллигенции: к разночинной молодежи, к передовым дворянам, студентам, офицерам,

чиновникам. Мечтая о тех временах, когда мужик

Белинского и Гоголя
С базара понесет,

Некрасов хорошо понимал, что это “желанное времечко” наступит еще очень не скоро. Да и Белинский в самых своих дерзновенных мечтах, конечно, не смел и надеяться, что ему выпадет счастье обращаться непосредственно к народу.

Если бы он дожил до этого счастья, он непременно изгнал бы из своего словаря многие иноязычные термины и заговорил бы на том ясном, простом, понятном для всех языке, которым владел с таким непревзойденным искусством величайший народный трибун — В.И. Ленин.

Конечно, В.И. Ленин не был бы вождем миллионов, если бы не обладал гениальной способностью обращаться к массам с наипростейшей речью. Но и Ленин в тех теоретических, научно-философских трудах, которые были обращены не к широкой читательской массе, а к образованным, просвещенным читателям, пользовался специальными научными и философскими терминами, доступными в ту пору лишь узкому кругу людей.

Такова, например, его книга “Материализм и эмпириокритицизм”, направленная против реакционной теории русских махистов.

Правда, иные из терминов, которые встречаются в ней, были чужды его словарю, и ему пришлось иметь с ними дело лишь потому, что они были взяты на вооружение неприятельским лагерем: таковы *эмпириомонизм*, *панпсихизм*, *панматериализм*, *трансцендуис* и т.д. Но и там, где В.И. Ленин говорит от себя, он не избегает таких выражений, как *субъективный идеализм*, *гносеологическая схоластика*, *имманентная школа* и т.д. [В.И. Ленин, Соч., т. 14, стр. 61, 94, 108, 151.]. Эта лексика была вполне доступна тому квалифицированному кругу читателей, к которому обращался Ленин со своим философским трудом.

Здесь, повторяю, все дело именно в том, к кому, к какой аудитории адресуется автор.

В знаменитом памфлете “Шаг вперед, два шага назад” Ленин уже на первых страницах пользуется такими словами, как *дискредитировать*, *суверенный*, *анонс*, *превалировать*, *квалифицировать*, *эффемистически*, *гипертрофия централизма* и т.д. [В.И. Ленин, Соч., т. 14, стр. 191, 192, 193, 230, 231.].

Так как статья была предназначена главным образом для читателя с высоким образовательным цензом, Ленин обильно вводил в ее текст без всякого перевода на русский язык даже такие слова, как *quasi*, *a priori*, *credo*, *versumpft*, *pruderie*, *Zwischenruf*, *ipso facto* [Там же, Соч., т. 7, стр. 195, 196, 203, 209, 241.].

Если же аудиторией Ленина была миллионная — в то время темная, отсталая, неграмотная (или полуграмотная) — деревенская Русь, словарный состав ленинского языка был совершенно иным, хотя самый язык оставался все тем же — ленинским “набатным” языком. Из него, естественно, изгонялись все малопонятные слова, он становился высочайшим образцом простоты и прозрачности, идеально доступным для всех — даже обойденных культурой — умов. Отсюда беспрестанные требования Владимира Ильича к “пропагандистам и агитаторам”: говорить “без книжных слов, просто, по-человечески” [Там же, Соч., т. 27, стр. 434.], говорить с крестьянами “не по-книжному, а на понятном мужику языке” [Там же, т. 29, стр. 190.],

“Для масс надо писать, — твердил он, — без таких новых терминов, кои требуют особого объяснения” [Там же, т. 32, стр. 60.] и т.д. и т.д.

“Употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу)” [Там же, т. 30, стр. 274.].

Именно ради наибольшего влияния на массу Ленин неустанно, настойчиво требовал, чтобы во всех обращениях к крестьянам, красноармейцам, “городской, фабричной “улице” [Там же, т. 31, стр. 88.] звучал безыскусственный, свободный от всяких напыщенных вычур, правильный русский язык.

В первой Государственной думе один депутат-крестьянин употребил иностранное слово “прерогативы”, ошибочно полагая, что оно означает “рогатки”. Ленин отнесся к этой ошибке без всякого гнева. “Ошибка была тем простительнее, — заметил он, — что разные

“прерогативы”... являются на самом деле рогатками для русской жизни”. Но с величайшим негодованием высмеял Владимир Ильич думского октябриста Люца, который, желая щегольнуть иностранным словом, безграмотно употребил глагол *будировать*. *Будировать* (от французского *будэ*) означает дуться, сердиться. А Люц (как и многие неучи) вообразил, будто это значит возбуждать, тормозить, будить, и брякнул перед всеми депутатами, будто большевики стремятся *будировать* (!) чувства рабочих [Сам Ленин охотно употреблял это слово, например: “Левые кадеты недовольны поражением в Гельсингфорсе и *будируют* ...” (Соч., т. 11, стр. 251.)].

Это было в 1913 году. Ленин тогда же восстал против этой вопиющей безграмотности. И снова вспомнил о ней уже в советское время — в статье “Об очистке русского языка”.

“Перенимать французски-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но, во-первых, не доучился, а, во-вторых, коверкал русский язык” [В.И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 274.]. Найдя в одной из статей выражение *сенсуалистический феноменализм*, Ленин написал на полях: “Эк его!” [В.И. Ленин, Философские тетради. М., 1947, стр. 403.].

И когда на следующей странице Ленину встретился “*метафеноменалистический*”, он на полях написал: “Уф!” [Там же, стр. 404.]. В обстоятельной статье Б.В. Яковлева “Классики марксизма-ленинизма о языке и стиле” приводятся многочисленные примеры того, с какой великолепной находчивостью В.И. Ленин заменял в своих и чужих рукописях иноязычные слова и выражения русскими.

Например, *бреттерство* заменил он *наездничеством*, *прожектерство* — *праздномыслием*, *кокетничание* — *заигрыванием*, *характерный инцидент* — *поучительным происшествием*.

Вместо: *толпа сымпровизировала* — *толпа составила без всякой подготовки*.

Вместо: *не делает себе иллюзий* — *не боится смотреть в глаза правде*.

Вместо: *квази парламентская-игрушечно парламентская*.

Иногда он переводил одно иностранное слово тремя-четырьмя русскими: написав слово *ликвидировать*, он поставил в скобках: “т. е. распустить, разрушить, отменить, прекратить” [“Язык газеты”. М.-Л., 1941, стр. 97-111.].

“К чему говорить “дефекты”, — возмущался он, — когда можно сказать недочеты, или недостатки, или пробелы” [В.И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 274.].

Французская пословица: “*Les beaux esprits se rencontrent*” передавалась буквалистами так: “Умники часто встречаются мыслями”. Ленин, воспроизведя эту пословицу в подлиннике, тут же придал ей русский национальный характер:

— “Свой своему поневоле брат”.

И вторично, в другом сочинении:

— “Рыбак рыбака видит издалека” [Впервые указано Б. М. Эйхенбаумом в статье “Ораторский стиль Ленина”. Перепечатано в его книге “Литература”. Л., 1927, стр. 252. Первая цитата — Соч., т. 6, стр. 393, вторая — т. 10, стр. 246.].

Другую французскую пословицу: “*A la guerre comme a la guerre*” — нередко передавали бессмысленной для русского уха фразой: “На войне как на войне”. И нужно было до такой степени проникнуться духом своего языка, как проникся Владимир Ильич, чтобы, сохранив крылатость французского текста, дать следующий перевод этой фразы:

— “Коль война, так по-военному”.

Или, в другом месте:

— “Коли воевать, так по-военному!” [В.И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 141; т. 30, стр. 322; т. 32, стр. 197. См. также книгу Б. Яковлева “Ленин-публицист”. М., 1960, стр. 105 и 170.].

Сурово осуждая ненужную иноязычную лексику, недоступную широкому слою читателей, Ленин, естественно, стремился к тому, чтобы утвердить в обиходе трудящихся масс русские партийные термины, созданные русской народной традицией.

Не раз выражал он радость, что главным определяющим термином для нового строя сделалось чисто русское слово “Совет”, вошедшее во всемирную лексику.

“Везде в мире, — писал он, — слово “Совет” стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся” [В.И. Ленин, Соч., т. 29,

стр. 224.]

Русское слово *ячейка* введено в качестве партийного термина Лениным в 1911 году.

“Слово, хорошо выражающее ту мысль, что внешние условия предписывают небольшие, очень гибкие, группы, кружки и организации” [Там же, т. 17, стр. 246.]

Теперь это исконно русское слово вошло именно в качестве партийного термина и в татарский, и в таджикский, и в марийский, и в башкирский, и во многие другие языки многоязычного советского народа.

Когда в 1917 году одна из петроградских газет применила к банкирам и другим эксплуататорам старорусское слово *туняядцы*, Ленин встретил его очень сочувственно:

“Удивительно хорошее слово попало под перо — в виде исключения — редакторам “Известий”, — писал он”. [Там же, т. 24, стр. 361.] С горячим одобрением отнесся он к таким подлинно русским словам, как *разруха*, *уклон*, всякий раз отмечая их выразительность, ясность и точность.

Даже в его научно-философских трудах, изобилующих иноязычными терминами, все время чувствуешь русскую языковую стихию, которая то и дело прорывается такими словами: “*Мудрененько* было бы...”, “Мах именно на этом пункте *свихнулся* ...”, “*Читать-читали и переписать — переписали, а что к чему, не поняли*”, “*Известное дело: чего хочется, тому верится*” [В. И. Ленин, Соч., т. 14, стр. 32, 35, 175, а также т. 7, стр. 88.] и т. д. (Курсив мой. — **К. Ч.**).

Таких примеров можно привести очень много, и никому не придет в голову спрашивать, какой из этих двух столь различных стилей ценнее, целесообразнее, выше, так как оба они превосходны.

Каждый, кто без всякого предубеждения изучит типические особенности ленинской лексики, непременно придет к выводу, что Ленин строго делил иноязычные слова, входящие в состав русской речи, на уместные и неуместные, в зависимости от того, к кому, к какой аудитории была обращена эта речь.

В одних случаях его лексика вполне допускала такие, например, выражения, как *анализ принципиальных тенденций ортодоксии* — четыре иноязычных слова подряд! — а в других он даже слово *кокетничание* заменял более легким словом и считал необходимым восстать против слова *дефекты*, требуя, чтобы обращающиеся к массам ораторы заменили его русским синонимом [Там же, т. 7, стр. 369.].

Вообще вот немаловажная тема для изучающих язык В.И. Ленина: четыре разновидности ленинского стиля, в соответствии с четырьмя категориями читателей (или слушателей), к которым он обращался со своими статьями, речами и книгами. Сначала

- 1) сравнительно небольшая группа партийных интеллигентов, потом
- 2) широчайшие народные массы России, потом
- 3) все народы земного шара.

Конечно, “сначала” и “потом” очень условны, так как бывали годы, когда В.И. Ленин обращался попеременно ко всем трем адресатам, в зависимости от чего всякий раз изменялись стилистические оттенки его устных и печатных выступлений.

Был и четвертый адресат — он сам. Я имею в виду те случаи, когда он писал для себя (см., например, так называемые “Философские тетради”). Там он свободно пользовался иноязычной лексикой: “*дискретное* действительности” (58), “Гегель... *антиквирован*” (226) и т. д. (курсив мой. — **К. Ч.**).

VI

“Язык что одежда”, — говорит некий английский лингвист. И действительно, на лыжах не ходят во фраке. Никто не явится на официальный бал, облачившись в замусоленную куртку, которая вполне хороша для черной работы в саду.

Из чего опять-таки следует, что мы никогда не имеем права судить о ценности того или иного слова, того или иного оборота чохом и голословно, вне связи с другими элементами данного текста. Очень верно сказано об этом у Пушкина:

“Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота,

но в чувстве соразмерности и сообразности” [А. С. Пушкин, Отрывки из писем, мысли и замечания. Полн. собр. соч., т. IX. М., 1936, стр. 52.]. Люди же, лишенные вкуса и языкового чутья, всегда воображают, что об отдельных словах они во всех случаях могут судить независимо от той роли, которую эти слова призваны играть в данном тексте. Им кажется, например, что борьба за чистоту языка заключается в “безотчетном отвержении” всех иностранных речений только за то, что они иностранные. В.И. Ленину такое “безотчетное отвержение” было, как мы видим, несвойственно.

Те, кто утверждает, будто он всегда и везде, решительно при всех обстоятельствах изгонял из своих книг и статей слова, заимствованные из чужих языков, сознательно отступают от истины в угоду заранее придуманным схемам.

И неужели мы должны позабыть, что, говоря о нежелательности мудреных терминов и непонятных речений, В.И. Ленин употребил оптимистическое слово *еще*.

“С[оциал] д[емократы], — писал он, — должны уметь говорить просто и ясно, доступным массе языком, отбросив решительно прочь тяжелую артиллерию мудреных терминов, иностранных слов, заученных, готовых, но непонятных *еще* (подчеркнуто мною. — К.Ч.) массе, незнакомых ей лозунгов, определений, заключений” [В.И. Ленин, Соч., т. 11, стр. 262]. Если сказано: *еще*, значит существует уверенность, что это явление временное, что *еще* непонятное когда-нибудь станет понятным.

Со времени этого *еще* прошло более полувека: приведенные строки написаны в 1906 году. Сменилось уже пять поколений, и нынешняя молодежь — внуки и правнуки тех, к кому обращался Ленин, — как она не похожа на прежнюю!

Нынешняя не может даже и представить себе, в какой страшной, беспросветной темноте был тогда русский народ.

Всеобщая грамотность, обязательное, бесплатное обучение в школах — об этом не смели тогда и мечтать. А тысячи вузов, а кино, а телевизор, а радио, а миллионные тиражи центральных, республиканских, районных газет, а дворцы культуры, а библиотеки, а избы-читальни, а иностранные языки в каждой школе, а институты иностранных языков, — нет, это “*еще*” осталось далеко позади, и современный читатель, на образование которого государство тратит несметные суммы, даже права не имеет заявлять притязания на то, чтобы с ним говорили, как с недорослем, на каком-то упрощенном, облегченном, обедненном языке, свободном от всяких наслоений всемирной культуры.

Термины, которые были “мудреными” для широких народных масс в то отдаленное время, теперь уже вошли в обиход каждого из советских людей, достигших среднего культурного уровня, недаром во всех вузах так детально штудируются труды классиков марксизма-ленинизма, требующие от читателя отнюдь не мимолетного знакомства с иноязычными словами и “мудреными” терминами.

Догматики же, приводя эту цитату, постоянно умалчивают, что она относится к стародавней эпохе, и применяют ее к нынешнему поколению советских людей. И поневоле вспоминаются слова Э. Казакевича:

“Нет вещи более противоречивой и коварной, если цитирующий неспособен учитывать переменчивость времен, когда та или иная цитата появлялась на свет божий... Цитата! Каких только бед способна ты наделать в качестве орудия догматического ума” [Эм. Казакевич, Синяя тетрадь, гл. 17.]. Итак, никто из нас не может сказать, что он за эти слова или против. В иных случаях за, в иных случаях против. Нельзя же не учитывать контекста. Все зависит от того, где, когда, при каких обстоятельствах и с каким собеседником ведется наш литературный разговор.

Конечно, я не говорю о невеждах, употребляющих иностранные слова невпопад, наобум, без толку, без всякой нужды. Они достойны осмеяния и презрения, но принимать их в расчет невозможно. На наши суждения об иностранных словах не могут же воздействовать вот такие уродства:

— Товарищ Иванов с *апогеем* рассказывал.

— Он говорил с *экспромта*.

— Он *абстрагировался* от комсомольской среды.

— Он тут разводил *метафизику*, что план нереален. [В. З. Овсянников, Литературная речь. М., 1933, стр. 7.]

— С тех пор как я стал работать, клуб доведен до высшего вакуума.

— Не *фигурируйте* документами!

— Я ее не трогаю, а она меня *игнорирует* и *игнорирует*. [С. Богданова и Р. Г. Гурова, Культура поведения школьника. М., 1957, стр. 102.]

И даже:

— У нее, знаете, муж *аллигатор* с большим стажем (вместо *ирригатор*) [Лев Успенский, Слово о словах. М., 1957, стр. 376.].

Речь, конечно, идет не об этих анекдотических неучах, достойных наследниках того депутата, который оскандалился со словом *будировать*. Здесь мы говорим о подлинно культурных, образованных людях, об их праве широко и свободно пользоваться всеми ресурсами языка в зависимости от обстоятельств места и времени.

“Так, слово *аналогия*, — говорит авторитетный советский ученый, — употребляется на законных основаниях в науке, но плохо, если мы введем его в такую, например, фразу: “Квартира Ивана Ивановича имеет *аналогию* с квартирой Петра Петровича...” Едва ли кому придет в голову сказать: “Голос Пети *вибрировал* от волнения”, хотя в некоторых областях науки и техники слова *вибрация*, *вибрировать* необходимы.

Так вопрос о лексических нормах употребления иноязычных слов связывается с вопросом о стилистических нормах их использования, то есть с вопросом о том, в каком именно стиле литературного языка целесообразно и нужно применить тот или иной “варваризм” [Б. Н. Головин, О культуре русской речи. Вологда, 1956, стр. 47.].

Те читатели, которые хоть отчасти знакомы с моими работами по истории и теории словесности, не могли (надеюсь) не заметить, что ни одной своей статьи я никогда не загружал тяжеловесным балластом профессорской псевдоучености. Каковы бы ни были их недостатки, в них во всех — свободное дыхание, простой разговорный язык. Да и в качестве сочинителя детских стихов я по самой своей профессии тяготею к пуризму.

Но сильнейшее негодование вызывают во мне те тартюфы обоого пола, которые, играя на патриотических чувствах читателя, упорно внушают ему при помощи подтасовки цитат, будто вся беда русского языка в иностранщине, будто и Ленин, и Белинский, и все наши великие люди во всякое время, всегда питали к ней одну только ненависть. Даже Петра I, насаждавшего в России такие слова, как *баталия*, *виктория*, *фортеция*, *политесс*, *ассамблея*, *империум* и пр., даже его изображают они на основании какой-то случайной цитаты суровым врагом этой лексики!

И есть у них особый прием, при помощи которого они одерживают множество дешевых побед. Стоит кому-нибудь сказать или написать, ну, хотя бы *французская пресса*, и они сердито вопрошают: зачем нам это иностранное слово, если существует отечественное слово *печать*? И зачем *махинация*, если существует *проделка*? Все эти сердитые “зачем?” рассчитаны на простаков и невежд. Ибо и здесь все зависит от обстоятельств места и времени. Только простакам и невеждам можно навязывать мысль, будто русский язык терпит хоть малейший ущерб оттого, что наряду со словом *вселенная* в нем существует *космос*, наряду с *плясками* — *танцы*, наряду с *мышцами* — *мускулы*, наряду с *сочувствием* — *симпатия*, наряду с *вопросами* — *проблемы*, наряду с *воображением* — *фантазия*, наряду с *предположением-гипотеза*, наряду с *полосою* — *зона*, наряду со *спором* — *диспут*, наряду с *указателем цен.-прейскурант* [Но, конечно, совершенно напрасно у нас в магазинах на видном месте в позолоченных рамках вывешиваются безграмотные “*Прейскуранты цен*” (ведь *прейс* и значит *цена*).].

Нужно быть беспросветным ханжой, чтобы требовать изгнания подобных синонимов, которые обогащают наш язык.

Замечательно, что русский народ, руководясь своим тонким чутьем языка, нередко отвергает существующее русское слово и заменяет его иностранным. Одно время, например, казалось, что в нашей речи прочно утвердилось слово *кинолента*. Но прошло года три, и это слово было вытеснено термином *фильм* [Последний пример заимствован из статьи В. Ф. Алтайской “Переходные явления в лексике русского языка послеоктябрьского периода”. “Русский язык в школе”, 1960, № 5, стр. 18.].

И я нимало не тужу о том, что мы говорим (вопреки Шишкову и Далю): *лагерь*, а не

стан, эгоист, а не себятник, акушерка, а не повивальная бабка, акварель, а не водяная краска, эклиптика, а не солнцепутье, маршрут, а не путевик, корректор, а не правщик, и т.д.

Вопрос о том, какой из синонимов следует ввести в нашу речь, решается всякий раз по-другому: как подскажет нам чувство стиля, чутье языка. Все дело в “соразмерности и сообразности”.

Если в бытовой обывательской речи нас коробят все эти *пролонгировать, лимитировать, аннулировать*, то отнюдь не потому, что они иностранные, а потому, что они вошли в нашу речь из обихода всевозможных канцелярий и на них слишком ясно видна казенная печать бюрократизма. Точно так же мы восстаем против таких слов, как *бомонд, адюльтер, комильфо, мезальянс*, совсем не потому, что они завезены к нам из Франции, а потому, что они отражают в себе чуждый нам великосветский, паразитический быт.

Другое дело, если бы русский народ был поработен чужеземцами. Отстаивая национальную свою самобытность, он бойкотировал бы каждое иноязычное слово, навязанное ему угнетателями, как поступил, например, венгерский народ, испытавший тяжесть австрийского ига. В этом бойкоте был бы великий политический смысл. Здесь была бы одна из форм борьбы с ненавистным насильником. Но ведь могучая наша страна не покорена чужеземцами. Наша национальная гордость не терпит никакого ущемления оттого, что космонавты зовутся у нас космонавтами, тем более что именно в нашей стране это слово впервые в истории мира стало обозначать не мечту, но живую реальность.

Поэтому, когда нам встречаются в “Правде” гордые заявления о том, что советские люди — *пионеры космических трасс* [“Правда” № 70 от 11 марта 1961 года.], мы считаем эту “иностранщину” совершенно уместной и не испытываем никакой неприязни к трем иностранным словам, которые именно благодаря усилиям советских людей давно уже сделались русскими.

Глава четвертая “УМСЛОПОГАСЫ”

I

Итак, оказывается, что засилье чужезычных речений не грозит нашему языку ни малейшей опасностью уж хотя бы потому, что никакого засилья нет.

Точно так же не способны испортить его те сложносоставные слова типа *ЗАГС, управдом, поссовет*, которые, начиная с Октябрьских дней, хлынули в него широчайшим потоком.

Правда, среди этих слов попадаются порой отвратительные. Например, *Облуппромпродтовары*, которое так рассердило смоленскую жительницу Татьяну Шабельскую, что она вместе с гневным письмом прислала мне коробку витаминов, на которой без зазрения совести начертано это бездарное слово.

Я вполне разделяю негодование Татьяны Шабельской, но значит ли это, что нам подобает огулом, не считаясь ни с чем, осуждать самый метод образования слов из нескольких начальных слогов или букв?

Ведь многие из них уже успели войти в исконно русскую, бытовую и литературную речь: *СССР, РСФСР, ЦК, вуз, комсомол, колхоз, трудодень*. Они уже не кажутся искусственно склеенными, а живут такой же естественной жизнью, как, скажем, слова *человек* или *азбука*.

Справедливо сказал о них Эммануил Герман в 1919 году, то есть в то самое время, когда возникли лучшие из них:

В словах, доселе незнакомых,
Запечатлен великий год —

В коротких *Циках*, *Совнаркомах*
 И в грузном слове *Наркомпрод*.
 Дивлюсь словесному цветенью,
 И все б внимал! И все б глядел!
 Слова ложатся вечной тенью
 От изменяющихся дел

[Э. Герман, Стихи о Москве. 1922, стр. 23, 24.].

Принято думать, что все эти новые словообразования возникли оттого, что “изменяющиеся дела” революции внесли в сознание русских людей столько новых, небывалых понятий. Это верно, но только отчасти. Конечно, в прежнее время не было и быть не могло таких явлений, как ЦИК, Совнарком, Наркомпрод.

Но разве не примечательно, что точно такому же сжатию подверглись и те комбинации слов, которые существовали задолго до Октябрьских дней. Вот несколько разительных примеров. В России *сберегательные кассы* были учреждены в 1841 году, а лишь после 1917 года, то есть после того, как они просуществовали лет восемьдесят, они, подчиняясь новым темпам общественной жизни, стали именоваться в народе *сберкассами*.

Такова же участь *Литературного фонда*, который превратился в *Литфонд*. Литературный фонд был основан А.В. Дружининым в 1859 году, и в дореволюционное время ни у кого не было ни желания, ни надобности называть его сокращенно *Литфонд*.

И еще пример такого же запоздалого словесного сплава. Московский Художественный театр лет двадцать был Московским Художественным театром и только в советскую пору сделался для каждого МХАТом. Прежде в домашнем кругу мы для скорости говорили: “Художественный”, отбрасывая первое и последнее слово:

- Достали билет в Художественный?
- В Художественном нынче “Дядя Ваня”.

Но до МХАТа никто не додумывался. А если бы и додумался, слово это повисло бы в воздухе и не вошло в широкий речевой обиход, так как такое сцепление звуков еще не стало массовой привычкой [Даже не три, а четыре слова превратились в односложное МХАТ: Московский Художественный академический театр, то есть из 16 слогов стал один!].

Все эти примеры показывают, что был такой краткий период, когда вдруг стали срастаться не только те словосочетания, которые создала революция для новых учреждений и профессий, но и те, которые существовали в дореволюционное время и, не требуя никаких сокращений, жили десятки лет в своих первоначальных формах.

Значит, самая природа языка изменилась. Значит, та небывалая тяга к теснейшему сцеплению слов, благодаря которой у нас появились *колхоз*, *комсомол*, *профсоюз*, *универмаг* и т. д., была в то время так сильна и активна, что заодно подчинила себе даже такие слова, которые в готовых сочетаниях существовали задолго до советской эпохи.

Сколько десятков лет я смолodu слышал выражение: *квартирная плата*. Но только в 20-х годах новые тенденции речи превратили квартирную плату в *квартплату*.

Такому же обновлению подверглась и старинная форма: *главный бухгалтер*, которая, подчиняясь этим новым тенденциям, неожиданно преобразилась в очень устойчивую форму: *главбух*.

Скажут, что происхождение этих слов чисто административное и что их главный источник — распоряжение государственной власти.

В иных случаях это вполне справедливо, недалеко не всегда.

Всмотримся, например, каким образом создалось хотя бы такое словосочетание, как “Республика ШКИД”. Здесь никакого начальственного воздействия не было. ШКИД — это сокращенное наименование *Школы имени Ф.М. Достоевского*, созданное самими учащимися.

Опять-таки характерно, что хотя школы имени Достоевского существовали в старой России лет тридцать, но только в революционные годы это название спрессовалось в короткое ШКИД — без всякого участия школьных властей.

Новичок, попавший в эту школу, спросил у одного из учащихся:

- А почему вы школу зовете ШКИД?

— Потому, -ответил тот, — что это, брат, по-советски.

Так же самочинно, так сказать, по воле народа возникали в ту пору бесчисленные агрегаты имен и фамилий. Сотни лет существовали в России всякие Иваны Ильичи Косоротовы, но до 20-х годов и в голову никому не приходило, что из этих традиционных трех слов можно сделать одно: *Ивилькос*.

И что Марию Егоровну Шатову можно превратить в *Маешат*.

А в ту пору, про которую мы сейчас говорим, это стало обычным явлением, опять-таки не имеющим никакого касательства к административным источникам, о чем свидетельствует хотя бы такой диалог, воспроизведенный в “Республике Шкид”:

“— Как зовут заведующего? — Виктор Николаевич.

— А почему же вы его не сократили? Уж сокращать так сокращать. Как его фамилия?

— Сорокин, — моргая глазами, ответил Воробышек.

— Ну вот Вик. Ник. Сор. Звучно и хорошо. — И правда, дельно получилось. — Ай да Цыган!

— И в самом деле, надо будет Викниксором величать”.

Таким же манером Элла Андреевна Люмберг была превращена в *Эланлюм*. Константин Александрович Меденников — в *Косталмеда* и пр. [Г. Белых и Л. Пантелеев, Республика Шкид. Л., 1960, стр. 29 и 91. Радуюсь, что после столь долгого перерыва эта отличная книга опять появилась на свет.].

Подобная тяга к сокращению имен наблюдалась тогда не только в “Республике Шкид”. В другой школьной повести, относящейся к той же эпохе, читаем:

“В школе, где я преподаю, такие сокращения, как *Алмакзай* (Александр Максимович Зайцев) или *Пе на* (Петр Павлович), давно завоевали себе право гражданства” [Н. Огнев, Дневник Кости Рябцева.] Такая наступила тогда полоса в жизни русской разговорной и письменной речи: всякие сращения слов вдруг сделались чрезвычайно активными. Активность эта выразилась именно в том, что сращениям подверглись даже старинные словосочетания, никогда не сраставшиеся в прежнее время.

Произошло это без всяких административных нажимов, в порядке самодеятельности масс. Самодеятельность проявлялась порой в самых неожиданных и смешных буффонадах.

Маяковский, например, рассказывал мне, будто молодые москвички, назначая randevу своим поклонникам, произносят два слова:

— *Твербуль Пампуш!*

И те будто хорошо понимают, что так называется популярное место любовных свиданий: Тверской бульвар, памятник Пушкину.

Этот *Твербуль Пампуш* был мне особенно мил, потому что в нем слышалось что-то украинское. В 20-х годах в Москве существовало двустишие:

На *Твербуле* у *Пампуша*

Ждет меня миленок Груша.

Вообще такие новообразования нередко имели для русского уха какой-то иноязычный оттенок, и когда Кооператив сахарной промышленности стал сокращенно называться *Коопсах*, Маяковский ощутил это слово как библейское имя:

Например,
вот это
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
“Коопсах”.

(“Юбилейное”)

Сравни у Алексея Толстого: “Катя боялась некоторых слов, например, *совден* казался ей

свирепым словом, *ревком* — страшным, как рев быка”.

Словесные агрегаты так часто встречались в тогдашнем быту, что даже самые простые слова воспринимались как склеенные. В.И. Качалов рассказывал, что, увидев на двери какого-то учреждения надпись ВХОД, он остановился в недоумении, размышляя про себя, что же может она означать, и в конце концов решил, что это: “Высший Художественный Отдел Дипкурьеров”.

Филологи, говоря об этих сращениях слов, любят указывать, что они существовали и прежде: “Российское общество пароходства и торговли” называлось РОПИТ, а “Южно-Русское общество торговли аптекарскими товарами” — ЮРОТАТ. Такие сокращенные наименования были присвоены еще нескольким коммерческим фирмам: РУСКАБЕЛЬ, ПРОДУГОЛЬ, ПРОДАМЕТ [На это указывает и *Горнфельд*, стр. 152-158, и *Тимофеев*, стр. 87-90, и *Боровой*, стр. 143-156.].

В те времена, вспоминают филологи, такое словотворчество было распространено в почтово-телеграфных сношениях представителей власти и торгово-промышленных фирм. Тогда работники почтово-телеграфного ведомства снабжались особыми списками сокращенных адресов и названий. В этих списках генерал-губернатор назывался *Генгру*, главный инспектор по пересылке арестантов *Гипа*, а управление военных сообщений *Унвосо* [*Проф. А. Баранников*, Из наблюдений над развитием русского языка в последние годы. Ученые записки Самарского университета. Самара, 1919, стр. 28.].

Все это так. Но мне кажется, что приведенные примеры никак не подходят к настоящему случаю. Раньше всего потому, что их было слишком уж мало. Они ничего общего не имели с массовой, я бы сказал, эпидемической тягой к сращению слов, которая обнаружилась в 20-х годах, когда даже старые слова, относящиеся к старым понятиям, стали сочетаться по-новому.

“Разница между образованиями дореволюционными и современными, — говорит профессор А. Баранников, — в широте распространения. В то время как до войны подобные термины были доступны только немногим лицам, после революции они стали всеобщим достоянием” [*Проф. А. Баранников*, Из наблюдений над развитием русского языка в последние годы. Ученые записки Самарского университета. Самара, 1919, стр. 28.].

Разница, как мы увидим, чрезвычайно существенная.

II

“Попробуйте выговорить и понять, что это такое “Ка-хе-два”, “Ка-хе-ка” и черт его знает еще как! Что это за собачий язык нам навязывают. Назовите по-человечески, чтобы было ясно, что это за машина”.

(*Н. С. Хрущев* — на XXII съезде КПСС)

Конечно, бывало и так, что наряду с революционными массами за словотворчество брались канцелярские выдумщики, не раз сочинявшие такие комбинации слов, которые были прямым издевательством над русской речью. Например, из скромного названия *школьный работник* они сварганили бесстыдное *шкраб*.

Будь я педагогом, я сильно обиделся бы, если бы кто обозвал меня таким какофоническим словом.

Потому что одно дело — рабочий, работник, а другое дело — раб. Назвать советского гражданина рабом, вряд ли такова была цель кабинетных сочинителей этого слова.

Шершавое звукосочетание *шкр* начисто отвергается русской народной фонетикой.

Лев Боровой цитирует драгоценный отрывок из воспоминаний А.В. Луначарского:

“Я помню, как однажды я прочел ему (В.И. Ленину) по телефону очень тревожную телеграмму, в которой говорилось о тяжелом положении учительства где-то в северо-западных губерниях. Телеграмма начиналась так: “Шкрабы голодают”.

— Кто? Кто? — спросил Ленин.

— Шкрабы, — отвечал я ему, — это новое обозначение для школьных работников.

С величайшим неудовольствием он ответил мне:

— Я думал, что какие-нибудь крабы в каком-нибудь аквариуме. Что за безобразие назвать таким отвратительным словом учителя! У него есть почетное название — народный учитель;

оно и должно быть за ним сохранено” [*Л. Боровой*, стр. 168. Ф. Ф. Грищенко, бывший инспектор Ураломо, сообщил мне в недавнем письме, что в 1924 году слово *шкраб* было официально запрещено А. В. Луначарским в особом приказе по ведомству Наркомпроса.]

Такой же несоветский, плантаторский смысл имеет дикое словечко *рабсила*.

Вообще канцелярская пошлость немало навредила и здесь. Стихийное живое словотворчество она превратила в бездушное сплетение мертвых слов, отвратительных для русского слуха. Появились такие чудовищные сочетания звуков: *Омтсгаушорс*, *Вридзампло*, *Мортихозупр*, *Лабортехпромтехснабсанихр* и сотни других.

Вся эта тошнотворная чушь навязывалась и навязывается русскому языку безнаказанно.

“Вот я открываю наугад “Список абонентов Ленинградской городской телефонной сети”, — пишет Борис Тимофеев в 1960 году, — и сразу натываюсь на *Ленгорметаллоремпромсоюз* и на *Ленгоршвейтрикотажпромсоюз* [Примеры этих бюрократических слов см. *Л. Боровой*, стр. 153, *Б. Тимофеев*, стр. 88. “Язык газеты”. М.-Л., 1941, стр. 175 и др.]. Хороши “сокращения” из двадцати шести букв!

Работник Липецкого совнархоза В.С. Кондрашенко с понятным негодованием пишет о таком “сокращении”, как *Росглавстанкоинструментснабсбыт*. “Тридцать одна буква в одном слове! — возмущается он в письме. — Попробуйте быстро вымолвить это слово по междугородному телефону или в служебном разговоре!”

В подобных словах нет ни складу, ни ладу, ни благозвучия, ни смысла³. Они совершенно непонятны читателям и превращают русскую речь в тарабарщину.

Еще через год, на XI съезде партии, Ленин сослался на “пример нескольких *гострестов* (если выражаться этим прекрасным русским языком, который так хвалил Тургенев)” и обрушивался на “коммунистическое чванство — *комчванство*, выражаясь тем же великим русским языком” [*В. Д. Бонч-Бруевич*, Как работал Владимир Ильич. (Из воспоминаний.) “Читатель и писатель”, 1928, № 2.] (Курсив мой. — **К. Ч.**)

“*Южбум*”, “*гостресты*”, “*комчванство*”- Владимир Ильич жестоко высмеял эти слова, искажающие и засоряющие русский язык, “который так хвалил Тургенев”. Ленин с гневом отзывался о журналистах, уродующих язык надуманными, произвольными сокращениями. “На каком языке это написано? Тарабарщина какая-то. Волапюк, а не язык Толстого и Тургенева”.

Тарабарщина эта была не только непонятна, но и антихудожественна, безобразна, безвкусна. Маяковский именно для того и выдумал словечко *Главначпупс*, чтобы заклеить эти чиновничьи вычуры. *Главначпупс* — главный начальник по управлению согласованием.

Против бездушного склеивания разнокалиберных слов, производимого всевозможными завами, советские люди протестовали по-своему — не только в газетно-журнальных статьях, но и в устных пародиях, причем пародистами нарочно подбирались такие слова, чтобы при их сокращении непременно получалась нелепость.

Когда в начале революции возник Третий Петроградский университет, студенты, смеясь, говорили, что сокращенно его следует называть *Трепетун* [Если память мне не изменяет, слово *Трепетун* впоследствии было обыграно в одном из фельетонов Аркадия Аверченко.].

Биржевую барачную больницу прозвали *Би-Ба-Бо*.

Илья Эренбург сочинил тогда же по этому методу словечко *Ускомчел*. Это должно было значить: “Усовершенствованный коммунистический человек”. Ильф и Петров, издеваясь над эпидемией канцелярского “сократительства”, довели этот прием до абсурда: подвергли такому сокращению тургеневских Герасима и Муму и получили озорное *Гермуму*. Они же выдумали пародийное *политкарнавал* [*И. Ильф и Е. Петров*, Двенадцать стульев. Золотой теленок. М., 1959, стр. 236 и 507.] и придали “Театру инфекции и фармакологии” сокращенное название *Тиф* [*И. Ильф и Е. Петров*, Фельетоны и рассказы. М., 1957, стр. 204.].

³ Любопытное исключение — на фотографии базара 20-х годов видна вывеска «Автомотовелотодорадиомонтер» — **V.V.** В.И. Ленин, который охотно пользовался такими сокращениями, как *Коминтерн*, *наркомат*, *госаппарат*, *ЦК*, *ЦИК*, *ЦКК*, *эсдеки*, *эсеры*, *кадеты*, *ГОЭЛРО*, *Оргбюро*, *Рабкрин*, *Госплан*, *Политбюро*, *нэпман* и т. д. (т. 33, стр. 289, 316, 317), с негодованием отвергал мертворожденные чиновничьи вычуры. На X партконференции Владимир Ильич иронически упомянул о некоторых товарищах, которые говорят, “что теперь у них есть «южбум» и что они воюют против этого «южбума»”.

Столь же остроумно использовали они имена *Фортинбрас* и *Умслопогас*. Первое имя принадлежит персонажу из “Гамлета”, второе — герою романа английского беллетриста Райдера Хаггарда. Авторы “Двенадцати стульев”, сделав вид, что не подозревают об этом, в шутку предложили читателю воспринять оба имени как составные названия двух учреждений (вроде *Моссовет*, *райлеском* и пр.). Оттого-то в их чудесной пародии на театральные афиши 20-х годов появилась такая строка:

“Мебель — древесных мастерских *Фортинбраса* при *Умслопогасе*” [И. Ильф и Е. Петров, Двенадцать стульев. Золотой теленок. М., 1959, стр. 242.].

Это уморительное *Умслопогас*, внушающее мысль об угасании ума, было настолько похоже на тогдашние составные слова, что стало нарицательным именем одного очень большого издательства, давно упраздненного. Мы так и говорили тогда:

— У нас в *Умслопогасе*...

Подобным же образом Александр Блок в одной шуточной пьеске (1919) высказал догадку, что имя молодого литератора *Оцуп* есть сокращенное название учреждения. Пьеска называется “Сцена из исторической картины «Всемирная литература», и там есть такие стихи:

Неправда! Я читаю в Пролеткульте,
И в Студии, и в Петрокомпромиссе,
И в Оцупе, и в Реввоенсовете...

В примечании к слову *Оцуп* поэт говорит, что если *Оцуп* — название учреждения, то, “очевидно, там была культурно-просветительная ячейка” [Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. III, М.-Л., 1960, стр. 423.].

Помню, как добродушно смеялся поэт, когда М. Лозинский, прощаясь с ним, сказал ему с величайшей серьезностью:

— ЧИК! — и пояснил, что по-новому это означает “Честь имею кланяться”.

Эдуард Багрицкий (в 1920-1921 гг.), приведя в своей поэме “Трактор” аббревиатуру МСПО, попытался расшифровать ее в пышно-романтическом стиле:

Четыре буквы: “МСПО”.
Четыре куска огня.
Это —
Мир С трастей, П олыхай О гнем!
Это —
Музыка С фер, П ари О ткровением новым!
Это —
М ечта, С ладострастье, П окой, О бман

[Эдуард Багрицкий, Собр. соч., т. 1, М.-Л., 1938: стр. 398.].

В настоящее время всеобщая страсть к сокращению слов мало-помалу потухла. Тем детям, которые при рождении нарекались такими экзотическими именами, как *Аванчел* (Авангард Человечества), *Слачела* (Слава Челюскинцам), *Новэра* (Новая Эра), *Долкап* (Долой Капитализм) и пр., теперь уже лет сорок, не меньше, и своих детей они называют уже по-человечески: Танями, Олями, Володями, Ванями.

И еще один пострадавший: *Сиврэн* — сокращенная форма четырех замечательных слов: Сила, Воля, Разум, Энергия. Можно быть твердо уверенным, что ни один из его сыновей не будет Сиврэном Сиврэновичем.

Вообще многие из этих слов-агрегатов оказались временяками и ныне отодвинулись далеко в историю вместе с теми явлениями, которые были обозначены ими: *нэп*, *рапп*, *пролеткульт*, *рабфак*, *комбед*, *торгсин*, *продразверстка*, *ликбез*, *моссельпром*.

И совсем без следа исчезли слова-фигуры, слова-пузыри, изготовленные в канцеляриях всевозможных начпупсов. Органическими, живыми словами им не удалось побывать, они умирали еще до рождения.

Кто помнит колченогое *ГВЫТМ*, которым пробовали было обозначить Государственные

высшие театральные мастерские? Или: *главэкоб, комикон, соучмол, копоко, трубарвосо*.

Это не то, что такие слова, как *загс, трудодень, стенгазета*, которые уже вошли в нашу лексику как полноправные законные слова.

К слову *загс* до того привыкли, что стали уже забывать, из каких четырех слов оно склеено. Я, например, совершенно забыл.

Так что беспокоиться нечего: все эти словесные агрегаты не могут нанести языку никакого ущерба, ибо народ строжайшим образом контролирует их и сохраняет лишь те, которые вполне соответствуют духу языка, его природе, и без жалости отменяет от себя всякую словесную нечисть.

Из всего этого вывод один: при суждениях о нормах нашей речи никак нельзя выносить приговоры огулом. Нельзя говорить: все такие слова хороши. Или: все они плохи. Среди них есть отличные, выдержавшие испытание временем, пользующиеся всенародным признанием, а есть и гомункулы, изготовленные бюрократическим способом. От них так и несет мертвечиной.

Конечно, только старовер может восставать против всех “сплавленных” слов.

Но кто же не порадует, видя, как сотнями проваливаются в тартарары всякие мертворожденные *Заммортеххозупры* и *Умслопогасы*?

Впрочем, увы, вместо старых кое-где появляются новые.

Недавно саратовец Г.В. Смирнов прислал в редакцию “Известий” такое письмо:

“Я купил пачку салфеток. Дома моя внучка, ученица второго класса, вскрыла пачку. На пол выпала бумажка...

СЧЁТКА САЛФЕТОК № 4

— Дедушка, что такое “счётка”?

— Не знаю, давай посмотрим в словаре. Но сколько словарей я ни перекопал, слово “счётка” обнаружить не удалось”.

От имени редакции “Известий”⁴ Г.В. Смирнову ответил В. Веселовский:

“Видимо, на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате уверены, что в русском языке нет других, более понятных слов, и поэтому утвердили слово “счётка”. Жаль только, не разъяснили, что это такое, как, например, это делают товарищи из города Черновцы. Они придумали новое слово. Легкое, звучное, веселое:

ЗАМШОЧКОСАЛФЕТКА

Так и просится в песню! И тут же разъяснили, что “замшочкосалфетка служит протирочным материалом для оптических изделий”. Действительно, кто же теперь говорит: — Замшевая салфетка для очков? Длинно, банально. Гораздо понятнее “замшочкосалфетка” [“Известия”, 14 сентября 1961 г.].

Наряду с *умслопогасами* в современную русскую речь проникли и другие словесные формы, тоже вызванные стремлением к ее экономии.

Я говорю о так называемых усеченных словах, или, как именуются они в просторечии, “обрубках”.

Читательница С.Н. Белянская недавно прислала мне из Ташкента письмо, где отзывается с большим негодованием о таких современных “обрубках”, как *зав, зам, пред, га* (вместо *гектар*) и др.

Они кажутся этой читательнице “насильственно (!) введенными в русский язык”, и она выражает надежду, что все они скоро исчезнут.

Надежда, конечно, не сбудется, так как слова эти вполне соответствуют ускоренным темпам нашей нынешней речи и входят в нее органически.

Такие “обрубки”, как *кино, кило, авто* и др., прочно вошли в наш литературный язык, и нет никакого резона изгонять их оттуда. И кто потребует, чтобы вместо чудесного “обрубка”

⁴ Речь, разумеется, идет об «Известиях Советов депутатов трудящихся» — второй по тиражу после «Правды» газеты в СССР. Эта газета прекратила существование в 1993 году после разгона Советов. — V.V. Народ проверяет слова раньше всего на слух. Ему необходимо благозвучие. Лишь те из новых слов он сохраняет в своем языке, которые соответствуют его фонетическим нормам. А чиновники не слышали тех слов, которые они чертили на бумаге в своих канцеляриях. Оттого-то эти *умслопогасы* и сгинули.

метро мы говорили *метрополитен*?

Это все равно, что требовать у англичан, чтобы они не смели говорить:

вместо *байсикл* — *байк* (велосипед);

вместо *перамбюлейтор* — *прам* (детская коляска);

вместо *адвертизмент* — *ад* (рекламное объявление);

вместо *трамкар* — *трам* (трамвай);

вместо *тэм-о-шэнтр кэп* — *тэм* (берет, вроде того, какой носил знаменитый герой Роберта Бернса Тэм О'Шэнтр).

Здесь, как везде, все зависит от стиля, то есть от “чувства сообразности и соразмерности”. В официальной или торжественной речи этим “обрубкам”, конечно, не место, но в непринужденной домашней беседе и вообще в бытовых разговорах они вполне естественны, законны, нужны.

Так что люди, которые увидели в них какие-то вредные отклонения от нормы, были глубоко не правы. Явление это совершенно нормальное.

Вообще, как мы только что видели, с блюстителями чистоты языка такое случалось не раз: стремясь очистить нашу речь от сорняков, они то и дело прихватывали и добрую траву и тучный колос.

Федор Гладков, например, восстал и в печати и с кафедры против прелестного русского слова *изморозь* [Федор Гладков, О литературе. М., 1955, стр. 112-113.].

С.Н. Сергеев-Ценский объявил незаконным совершенно правильное выражение *встать на колени*, хотя эта форма утверждена в сочинениях Горького, Блока, Маяковского, Тихонова [Пример приводится в статье Э. Ханпиры “Поговорим о нашей речи”, напечатанной в журнале “Вопросы литературы”, 1961, № 1, стр. 65. Более точным заглавием было бы: “Против излишнего запретительства”.].

А профессор И. Устинов заявил в “Литературной газете”, что никак не возможно называть чьи бы то ни было глаза *вороватыми* [“Литературная газета” от 29 декабря 1959 года.].

Спасибо молодому лингвисту Э. Ханпире: он вступился за этот прекрасный эпитет, равно как и за такие вполне правильные эмоциональные возгласы, как *ужасно весело*, *страшно красиво*, *вот так здорово*!, от которых совершенно напрасно предложила воздержаться М. Грызлова [Э. Ханпира, Поговорим о нашей речи. “Вопросы литературы”, 1961, № 1, стр. 70.].

И не одна она: О.С. Богданова и Р.Г. Гурова тоже включили в свой индекс запретных речений и *страшно весело* и *ужасно интересно* [О.С. Богданова и Р.Г. Гурова, Культура поведения школьника. М., 1957, стр. 101.].

Э. Ханпира со словарями в руках доказал полную правильность этих невинно осужденных речений.

В самом деле, если мы отнимем у наших писателей право вводить в свою речь слово *изморозь* и называть вороватые глаза *вороватыми*, если мы добьемся того, чтобы ни одна школьница не смела сказать: *я была ужасно рада* или *здорово мне влетело*, мы наверняка повредим нашей речи, обедним, обескровим ее.

Вспомним, с каким упорством Н.С. Лесков преследовал в 70-х годах три превосходных слова, которые, по его утверждению, портят и пачкают русскую речь: *эвакуация*, *оккупация*, *интеллигенция*, — никак не желая понять, что эти термины заполняют важнейший пробел в нашей лексике и что от них русскому языку только прибыль,

Вообще непогрешимых пуристов почти никогда не бывает.

В 1909 году вышел, например, вторым изданием “Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи”, составленный педагогом В. Долопчевым. Словарь был одобрен Ученым комитетом Министерства народного просвещения и настойчиво внушал русским людям, что нужно говорить и писать:

не *плевательница*, но *плевальница* (!).

не *негритенок*, но *негрёнок* (!),

и вносил точно такие же “поправки” в слова *авария*, *пахота*, *антитеза*, *перекупицк* и пр., выступая во всех этих случаях не столько нормировщиком речи, сколько усердным ее искажителем [В. Долопчев, Опыт словаря неправильностей в русской речи. Варшава, 1909,

стр. 46, 145, 158, 182, 296.]

Даже слово *блузка*, объявлялось неправильным. Женщины имели право носить только *кофточки*.

Педанство Долопчева доходило до крайности. Он, например, серьезнейшим образом требовал, чтобы мы говорили не *гоголь-моголь*, а *гогель-могель*.

Впрочем, и Г.И. Рихтер (очень почтенный советский ученый) настаивал, что нехорошо говорить *фигли-мигли* [Г. И. Рихтер, *Нормы литературной речи*. 1958, стр. 34.], а следует — *фигели-мигели*, хотя ни от *фигелей-мигелей*, ни от *гогелей-могелей* правильность речи не зависит нисколько. От писателей не отстают и читатели:

“Вы пишете: *порою мне сдается*. Что значит сдается? Сдаваться может только (!) комната”, — утверждает Эльвира Корецкая из города Сочи. И с нею совершенно согласен житель Москвы Б. Мелас, который, к своему счастью, даже не подозревает о том, что в такой же “неграмотности” повинны и Пушкин, и Крылов, и Тургенев, и Герцен. Очевидно, ему даже неведомо пушкинское:

“*Мне сдается*, что этот беглый еретик, вор, мошенник — ты”.

Москвич Федор Филиппович Бай-Балаев пишет в редакцию “Известий”:

“К. Чуковский в своей статье допустил слово *пускай*. Надо говорить и писать: *пусть*... До революции лишь шарманщики (!) распевали: “Пускай могила меня накажет”.

Сообщать ли суровому критику, что Некрасов никогда не был шарманщиком, между тем написал вот такие стихи:

Пускай долговечнее мрамор могил,
Чем крест деревянный в пустыне.

и:

Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба...

Не бывал шарманщиком и Лермонтов, хотя он позволил себе написать:

Пускай холодною землею
Засыпан я...

И неужели Бай-Балаев не знает любимой народом песни Михаила Исаковского, где есть такие слова:

Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду...

Я с юности привык уважать мнение своих читателей, как бы резко оно ни было высказано, но одно дело — компетентное мнение, а другое — безоглядный наскок.

К сожалению, слишком часто подвергаются резким нападкам литературные новшества, необходимые для роста языка.

Четыре читателя, проживающих в Таганроге, — О. Ножников, Ек. Иванова, Дьяченко и Горняк — прислали в редакцию “Известий” большое письмо, в котором под флагом борьбы с сорняками восстают против таких законнейших выражений и слов, как *он повзрослел*, *эпохальный*, *дымы*, *шумы*, *распахнулся простор*, *бездарь* и т. д. Письмо заканчивается странным призывом к писателям:

“Не придумывайте больше новых, более выразительных слов...”

Что стало бы с творениями Гоголя, Герцена, Салтыкова-Щедрина, Толстого, Достоевского, если бы эти писатели вняли призыву таганрогских пуристов!

“Какой ужас, — пишет пенсионерка Е.Ф. Кобрина, — такое новейшее словечко, как *чтиво!*”

Хотя, право же, это словечко прекрасно, так как оно очень метко характеризует явление, для которого у нас до сих пор не существовало подходящего термина. *Чтиво*, стоя в ряду таких слов, как *курево*, *месиво*, *крошево*, очень удачно придает осудительный смысл той обширной категории несерьезных, развлекательных книг, которые написаны главным образом для легкого чтения и не заслуживают в глазах говорящего сколько-нибудь высокой оценки, так как ничему не учат и никуда не зовут. Как же не радоваться, что у нас в языке появилось такое экспрессивное слово, отразившее в себе те высокие требования, какие предъявляет к литературе нынешний советский человек!

Точно так же не могу я сочувствовать тому негодованию, которое, судя по читательским письмам, многие болельщики за чистоту языка питают к таким “новым” словам, как *показуха*, *трудога*, *взахлёб*. Не думаю, чтобы эти слова были новыми, но если их и в самом деле не существовало у нас в языке, следовало бы не гнать их, а приветствовать — опять-таки за их выразительность.

— У нас одна сплошная *показуха!* — заявила на колхозном собрании молодая свинарка, обвиняя председателя в очковтирательстве.

Услышав впервые это слово около года назад, я обрадовался ему, как находке, и буквально влюбился в него, такое оно русское, такое картинное, так четко отражает в себе ненависть народа ко всему показному, фальшивому.

Так же дороги моей писательской душе такие новоявленные слова, как *авоська*, *раскладушка* и др.

Из сказанного следует, что борьба за культуру речи может быть лишь тогда плодотворной, если она сочетается с тонким чутьем языка, с широким образованием, с безукоризненным вкусом и, главное, если она не направлена против всего нового только потому, что оно новое. Если же ее единственным стимулом служит либо своевольный каприз, либо пришибевская страсть к запретительству, она неминуемо обречена на провал.

Сильно страдают от невежественных запретителей поэты, художники слова, вдохновенные мастера языка. Больно видеть, с каким возмущением пишут, например, иные читатели о современных поэтах, уличая их в “вопиющей безграмотности”, причем безграмотными они объявляют такие безупречные строки, как “Слушай, мой друг, тишину”, “Осень вызрела звездами”, “Луна потеряла рассудок”, “В смертельном обмороке бедная река чуть шевелит засохшими устами”, — тем самым отнимая у поэтов принадлежащее им древнее право на речевые дерзания.

Конечно, такой узколобый пуризм всегда обращается против самих же пуристов. Ничтожным карликом встает перед глазами потомков беспардонный Сенковский, позволявший себе из году в год издеваться над гениальной стилистикой Гоголя. И что, кроме презрения, вызывает у нас напыщенный педант Шевырев, назойливо уличавший в безграмотности такого могучего мастера русского слова, как Герцен. И нельзя сказать, чтобы современные люди вспоминали с особой признательностью тех бесчисленных рецензентов и критиков, которые скопом предавали проклятию новаторский язык Маяковского.

Всякий даровитый писатель есть по самой своей природе новатор. Именно своеобразие речи и выделяет его из среды заурядных писак. Никогда не забуду того непоколебимо тупого редактора, который пытался “исправить” самые колоритные фразы в рукописи И.Е. Репина “Далекое близкое”. Репин вверил эту рукопись моему попечению, и можно себе представить, какую я почувствовал тоску, когда увидел, что редакторским карандашом очень жирно подчеркнуты наиболее причудливые, живописные строки, которые так восхищали меня.

“Наш хозяин... *закосолатил* к Маланье...”, “Сколько сказок *кружило* у нас...”, “*Шавкали из подворотни ...*”, “Зонт мой пропускал уже *насквозь удары дождевых кулаков ...*”, “Полотеры несутся *морскою волною*” и т.д., и т.д., и т.д. [Корней Чуковский, Репин как писатель. В книге “Из воспоминаний”. М., 1959, стр. 184.].

Возле каждого подобного “ляпсуса” был поставлен негодующий восклицательный знак. Редактор хотел, чтобы Репин писал тем “правильным”, дистиллированным, бесцветным, неживым языком, каким пишут бездарные люди, похожие на него, на редактора. Мне стоило

много труда отвоевать у редактора эти своеобразные “ляпсусы” Репина.

Словом, было бы отлично, если бы иные блюстители чистоты языка воздержались от слишком решительных, опрометчивых и грубых суждений о недоступных их пониманию ценностях вечно обновляющейся поэтической речи.

Глава пятая ВУЛЬГАРИЗМЫ

I

Хуже всего то, что под флагом пуристов очень часто выступают ханжи.

Они делают вид, будто их изнеженный вкус страшно оскорбляется такими грубыми словами, как, например, *сиволаный*, или *на карачках*, или *балда*, или *дрянь*.

Если в какой-нибудь книге (для взрослых) им встретятся подобные слова, можно быть заранее уверенным, что в редакцию посыплется десятки укоризненных писем, выражающих порицание автору за то, что он пачкает русский язык непристойностями.

Такие ханжи родились не вчера. Еще декабрист Кюхельбекер писал:

“Из слова русского, богатого и мощного, сияются извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственный, тощий, приспособленный для немногих язык” [В.К. Кюхельбекер, О направлении нашей поэзии. Цит. по сб. “Декабристы” (составитель В.Н. Орлов). М.-Л., 1951, стр. 552.]. Идеал этих салонных эстетов — те жеманные дамы, которые, по свидетельству Гоголя, “никогда не говорили: я высморкалась, я вспотела, я плюнула, а говорили: я облегчила нос, я обошлась посредством платка” и т. д. “Ни в коем случае нельзя было сказать: этот стакан или эта тарелка воняет. И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, и говорили вместо того: «этот стакан нехорошо себя ведет» или что-нибудь вроде этого”.

К числу этих жеманных “эстетов”, несомненно, принадлежит и тот бакинский читатель, которому, как мы только что видели, ужасно не понравилось слово *штаны*, встречающееся в стихах Маяковского: “Достаю из широких *штанин*...”, “Облако в *штанах*”... Неприлично.

И читатель Н.Бородулин (Куйбышев), которого страшно шокирует слово *урчание*, напечатанное в свердловском журнале “Урал”.

И читательница Нина Бажанова (Киев), приславшая мне сердитый упрек за то, что в одной из статей я употребил слово *чавкает*.

С омерзением пишет минский читатель М.А. Марадудин о гениальном “Декамероне” Боккаччо, возмущаясь тем, что эта “похабная” книга невозбранно продается во всех магазинах — “и даже (!) в киосках”.

Харьковский читатель Ф. Хмыров (или Хмаров?) в красноречивом письме высказывает свое порицание “Графу Нулину” Пушкина, твердо уверенный, что эта бессмертная поэма написана специально “для разжигания чувственности”.

Об Аристофане, Шекспире, Вольтере и говорить нечего: “У них столько непристойностей и грубостей, что я прячу их от своего 20-летнего внука”, — пишет мне из Одессы пенсионер Митрофан Кирпичев.

Особенное возмущение вызвал у этих людей литератор, дерзнувший написать: “сивый мерин”.

“Как это мерин? да еще сивый... Совсем неприлично!” [Ал. Морозов, Заметки о языке. “Звезда”, 1954, № 11, стр. 144.]

Кому же не ясно, что заботой о чистоте языка прикрывается здесь лицемерная чопорность.

Ибо кто из нас может сказать, что в нашем быту уже повсюду умолкла отвратительная пьяная ругань, звучащая порой даже при детях? А эти чистоплюи считают своим долгом тревожиться, как бы общественная мораль, не дай бог, не потерпела ущерба из-за того, что в какой-нибудь книжке будет напечатано слово *штаны*. Как будто нравы только и зависят от

книг! Как будто из книг почерпают ругатели свое сквернословие!

Нет, грубость гнездится не в книгах, а в семье и на улице. Я еще не видал человека, который научился бы сквернословить по книгам. Чем бороться с “грубостями” наших писателей, пуристы поступили бы гораздо умнее, если бы дружно примкнули к тем многочисленным представителям советской общественности, которые борются со сквернословием в быту.

II

Другое дело, когда блюстители чистоты языка восстают против того вульгарного жаргона, который мало-помалу внедрился в разговорную речь некоторых кругов молодежи.

Ибо кто же из нас, стариков, не испытывает острой обиды и боли, слушая, на каком языке изъясняется иногда наше юношество!

Фуфло, потрясно, имакодявка, хахатура, шикара — в каждом этом слове мне чудится циничское отношение к людям, вещам и событиям.

В самом деле, может ли питать уважение к девушке тот, кто называет ее *чувихой* или, скажем, *кадришкой*? И, если влюбившись в нее, он говорит, что *вшендятился*, не ясно ли: его влюбленность совсем не похожа на ту, о которой мы читаем у Блока.

С глубокою тоскою узнал я о литературной беседе, которую вели в библиотеке три школьника, выбиравшие интересную книгу:

— Возьми эту: *ценная вещь*. Там один *так дает копоту!*

— Эту не бери! *Лабуда!* Пшено.

— Вот эта *жутко мощная книжка* [О.С. Богданова и Р.Г. Гурова, Культура поведения школьника. М., 1957, стр. 104.].

Неужели тот, кто подслушает такой разговор, огорчится лишь лексикой этих детей, а не тем низким уровнем их духовной культуры, которым определяется эта пошлая лексика? Ведь вульгарные слова — порождение вульгарных поступков и мыслей, и потому очень нетрудно заранее представить себе, какой развинченной, развязной походкой пройдет мимо тебя молодой человек, который вышел *прошвырнуться* по улице, и когда во дворе к нему подбежала сестра, сказал ей: — *Хиляй в стратосферу!*

На каждом слове этого жаргона мне видится печать того душевного убожества, которое Герцен называл тупосердием.

С острой, пронзительной жалостью гляжу я на этих тупосердых (и таких самодовольных) юнцов.

Еще и тем неприятен для меня их жаргон, что они не допускает никаких интонаций, кроме самых элементарных и скудных. Те сложные, многообразные модуляции голоса, которые свойственны речи подлинно культурных людей, в этом жаргоне совершенно отсутствуют и заменяются монотонным отрывистым рывканьем. Ведь только грубые интонации возможны в той примитивной среде, где люди щеголяют такими словами:

вместо *компания* — они говорят — *кодла*,

вместо *будешь побит* — *схлопочешь*,

вместо *хорошо* — *блеск! сила! мирово! мировецки!*

вместо *иду по Садовой* — *жму через Садовую*,

вместо *напиться допьяна* — *накиряться*,

вместо *пойдем обедать* — *пошли рубать*,

вместо *наелись досыта* — *железно нарубались*,

вместо *пойдем* — *потянем*,

вместо *неудачник* — *слабак*,

вместо *рассказывать анекдоты* — *травить анекдоты*,

вместо *познакомиться с девушкой* — *подклеиться* к ней и т. д.

Конечно, было бы странно, если бы и среди молодежи не раздавались порою протесты против этого полублатного жаргона. Студент Д. Андреев в энергичной статье, напечатанной в многотиражной газете Института стали, громко осудил арготизмы студентов: *ценная девушка*, *железно*, *законно*, *баши*, *хилок*, *чувак*, *чувиха* и т. д. И в конце статьи обратился к товарищам

с таким стихотворным призывом поэта Владимира Лифшица:

Русский язык могуч и велик!
Из уважения к предкам
не позволяйте калечить язык
Эллочкам-людоедкам!

[Д. Андреев, Следы людоедки Статья в газете “Сталь”, 1961, № 18. Стихи Владимира Лифшица напечатаны в его книге “Исповедь манекена”. М., 1961, стр. 11.]

Но мне кажется, борьба с этим “людоедским” жаргоном была бы куда плодотворнее, если бы она начиналась не в вузе, а в школе — там, где и зарождается этот жаргон.

Я знаю два-три интерната в Москве и несколько школ в Ленинграде, где учителям удалось начисто искоренить из речевого обихода учащихся всевозможные *потрясно* и *хляй*. Но такие удачи редки. Слишком уж заразительна, прилипчива, въедлива эта вульгарная речь, и отказаться от нее не так-то легко. К тому же школьники — скрытный народ, и я яе удивился бы, если бы вдруг обнаружилось, что главная ее прелесть заключается для них именно в том, что против нее восстанут педагоги. Вообще очень трудно отказаться от мысли, что изрядная доля “людоедских” словечек создана, так сказать, в противовес той нудной и приторной речи, которую иные человеки в футлярах все еще продолжают культивировать даже в обновленной, пореформенной школе⁵.

Не здесь ли причина того, что в своем интимном кругу, с глазу на глаз, школьники говорят о прочитанных книгах на полублатном языке: уж очень опостытели им “*типичные представители*”, “*наличие реалистических черт*”, “*показ отрицательного героя*”, “*в силу слабости мировоззрения*” и тому подобные шаблоны схоластической речи, без которых в дореформенной школе не обходился ни один урок литературы, хотя они по самому своему существу враждебны эмоциональной и умственной жизни детей. Дети как бы сказали себе:

— Уж лучше *мура* и *потрясно*, чем *типичный представитель*, *показ* и *наличие*.

Конечно, это лишь одна из причин возникновения такого жаргона, и притом далеко не важнейшая. Не забудем о влиянии улицы, влиянии двора. И вообще здесь не только языковая проблема, но и проблема моральная. Чтобы добиться чистоты языка, нужно биться за чистоту человеческих чувств и мыслей.

Для этого существуют великие силы искусства. И величайшая из них — литература. Но пользуемся ли мы этой силой? Отовсюду слышны голоса, что до недавнего времени изучение литературы превращалось у нас в унылое зазубривание готовых формулировок и схем, словно преследующих специальную цель: отнять у детей возможность самостоятельно любить литературу.

При такой системе преподавания “словесности” было совершенно немыслимо развитие литературного (а значит, и всякого) вкуса. Между тем именно вкус мог бы раз навсегда предохранить молодежь от *лабуды*, *кадришки*, *хахатуры*.

III

Но можем ли мы так безапелляционно судить этот жаргон? Не лучше ли взглянуть на него без всякой запальчивости? Ведь у него есть немало защитников. И прежде чем выносить ему тот или иной приговор, мы обязаны выслушать их внимательно и вполне беспристрастно.

— В сущности, из-за чего вы волнуетесь? — говорят они нам. — Во всех странах во все времена мальчики любили и любят напускать на себя некоторую развязность и грубость, так как из-за своеобразной застенчивости им совестно обнаружить перед своими товарищами

⁵ Книга напечатана в 1962 г., так что речь идет конечно же не о нынешних «реформах», а о демократизации образования в постсталинские времена — V.V. Живым, талантливым, впечатлительным школьникам не может не внушать отвращения скучная проза учебников, которая даже о гениальных стилистах, величайших мастерах языка умудряется порой говорить замусоленными канцелярскими фразами.

мягкие, задушевные, лирические, нежные чувства.

А во-вторых, не забудьте, что юным умам наша обычная, традиционная “взрослая” речь нередко кажется пресной и скучной. Им хочется каких-то новых, небывалых, причудливых, экзотических слов — таких, на которых не говорят ни учителя, ни родители, ни вообще “старика”. Все это в порядке вещей. Это бывает со всеми подростками, и нет ничего криминального в том, что они стремятся создать для себя язык своего клана, своей “касты” — собственный, молодежный язык.

— Кроме того, — продолжают защитники, — нельзя отрицать, что в огромном своем большинстве наша молодежь благороднее, лучше, умнее тех людоедских словечек, которыми она щеголяет теперь, подчиняясь всемогущему стадному чувству; что на самом-то деле эти словечки далеко не всегда отражают ее подлинную душевную жизнь. Даже тот, кто позволяет себе говорить *закидоны глазками, псих и очкарик*, может оказаться отличным молодым человеком, не лишенным ни чести, ни совести.

Вот, пожалуй, и все, что могут сказать защитники. Не стану оспаривать их утверждения. Пусть они правы, пусть дело обстоит именно так, как они говорят. Остается неразрешенным вопрос: почему же этот защищаемый ими жаргон почти сплошь состоит из пошлых и разухабистых слов, выражающих беспардонную грубость? Почему в нем нет ни мечтательности, ни доброты, ни изящества — никаких качеств, свойственных юным сердцам? И можно ли отрицать ту самоочевидную истину, что в грубом языке чаще всего отражается психика грубых людей?

Главная злокачественность этого жаргона заключается в том, что он не только вызван обеднением чувств, но и сам, в свою очередь, ведет к обеднению чувств. Попробуйте хоть неделю поговорить на этом вульгарном аргю, и у вас непременно появятся вульгарные замашки и мысли.

“Страшно не то, — пишет мне ленинградская читательница Евг. Мусякова, — что молодежь изобретает особый жаргон. Страшно, когда, кроме жаргона, у нее нет ничего за душой. Я тоже была “молодежкой” в 1920-1925 годах, у нас тоже был свой жаргон, пожалуй похуже теперешнего. Мы говорили: “похиряли хряпать”, “позекаешь” и т. д. Но это была наша игра: у нас “за душой” была ранее приобретенная культура. Если человек с детства знал Льва Толстого, Чехова, Пушкина, Диккенса, он мог, конечно, баловаться жаргоном, но ему было что помнить... Если же помнить нечего, если человек знает только жаргон и не имеет понятия о подлинной человеческой речи, а значит и о подлинных человеческих чувствах, тогда нечего пенять на жаргон. Тогда надо не с жаргоном бороться, а с бескультурьем”.

IV

Конечно, моя ленинградская корреспондентка права: культура языка связана с общей культурой. А так как нужно быть слепым, чтобы не видеть, что общая культура у нас очень интенсивно растет, с каждым годом захватывая все более широкие массы, — мы не вправе предаваться унынию: этот грубый жаргон — дело временное.

В отличие от подлинных слов языка арготические словечки ежегодно выходят в тираж.

Можно не сомневаться, что тот будущий юноша, который в 1973 году скажет, например, *рубать* или *башли*, не встретит среди своих сверстников никакого сочувствия и покажется им безнадежно отсталым. К тому времени у них будут готовы свежие синонимы этих жаргонных словечек, а эти либо вовсе забудутся, либо будут отодвинуты в разряд старомодных и размагнитятся так, как размагнитился *ррракалиооон* в глазах князька из “Записок охотника”.

“Бедный отставной поручик, — говорится в рассказе Тургенева, — попытался еще раз при мне пустить в ход свое словечко — авось, дескать, понравится по-прежнему, — но князь не только не улыбнулся, даже нахмурился и пожал плечом”.

Недавно в лондонском “Таймсе” появилась статья о молодежном жаргоне. Автор статьи почему-то уверен, будто этот жаргон — исключительное достояние нашей страны. Согласиться с ним никак не возможно. Сейчас предо мною монументальный словарь американского слэнга “The American Thesaurus of Slang” (изданный в 1945 году). В нем 1174 страницы. Шестнадцатая глава словаря называется “Колледж” и вся посвящена арготизмам, употреблявшимся в

тамошних вузах. Оказывается, что, например, о хорошенькой девушке в жаргоне американских студентов существовало в те годы 68 (шестьдесят восемь!) арготических слов: *вау*, *драб*, джиггер, пичалулу, лукерино, лоллео и другие, звучащие нисколько не лучше, чем наши *шмакодявка* и *ичувиха* [«The American Thesaurus of Slang» by L. Berry and M. Van den Bark (Л. Берри и М. Ван ден Барк, «Сокровищница американского слэнга»)].

За эти годы словарь до того устарел, что пользоваться им уже невозможно. Все эти *вау* и *драб* отцвели, не успев расцвести. Очень хрупки слова-однодневки: всякое новое поколение учащихся постоянно заменяет их новыми.

Английский филолог С. Поттер насчитал в речи современных британцев целых двадцать восемь арготических слов, соответствующих нашему *уходи прочь*. Среди них есть такие непривычные для английского уха, как *шушу* (shoo-shoo), *вемуз* (wamoose), *имши* (imshe), *скидеддл* (skedaddl) и пр. Нашему *железный*, *законный* там вполне со-ответствуют девятнадцать синонимов, вроде *киф* (kiff), *юм-юм* (yum-yum), *пош* (posh), *топ-ноч* (top-notch) и т.д., и все они стоят за пределами общепринятой английской речи [«Our Language» by Simeon Potter, 1957 (Симеон Поттер, Наш язык), стр. 136-137.]. Об этом в «Таймсе» почему-то ни слова.

История всех арготических словечек показывает, что никакие жаргоны не вредят языку. Сфера их применения узка. К нормативной общепринятой речи каждый из них относится, как пруд к океану.

Хотя, конечно, весьма огорчительно, что *хахатуры* и *икодлы* так приманчивы для наших подростков, но мы не вправе обвинять этот убогий жаргон в том, будто от него в какой-нибудь мере страдает общенациональный язык. Русский язык, несмотря ни на что, остается таким же несокрушимо прекрасным, и никакие жаргоны не могут испортить его.

Каковы бы ни были те или иные жаргоны, самое их существование доказывает, что язык жив и здоров. Только у мертвых языков не бывает жаргонов. К тому же нельзя не сознаться: иные из этих жаргонных словечек так выразительны, колоритны и метки, что я нисколько не удивился бы, если бы в конце концов им посчастливилось проникнуть в нашу литературную речь. Хотя в настоящее время все они в своей совокупности свидетельствуют об убожестве психической жизни того круга людей, который культивирует их, но ничто не мешает двум-трем из них в ближайшем же будущем оторваться от этого круга и войти в более высокую лексику.

Вот сколько мнимых болезней приписывают нынешней речи поборники ее чистоты.

Надеюсь, что всякий, кто внимательно прочитал предыдущие главы, не мог не согласиться со мною, что болезни эти в большинстве случаев действительно мнимые. Русскому языку не нанесли существенного ущерба ни проникшие в него иностранные термины, ни так называемые «умслопогасы», ни студенческий, ни школьный жаргон.

Гораздо серьезнее тот тяжкий недуг, от которого, по наблюдению многих, еще до сих пор не избавилась наша разговорная и литературная речь.

Имя недуга — *канцелярит* (по образцу колита, дифтерита, менингита).

На борьбу с этим затяжным, изнурительным и трудноизлечимым недугом мы должны подняться сплоченными силами — мы все, кому дорого величайшее достояние, русской народной культуры, наш мудрый, выразительный, гениально-живописный язык.

Глава шестая КАНЦЕЛЯРИТ

Куда скрылось живое, образное русское слово?

М.Е. Салтыков-Щедрин

...это все продолжает быть удивительным, именно потому, что живые люди, в цвете здоровья и силы решаются говорить языком тощим, чахлым, болезненным...

Ф.М. Достоевский

Два года назад в Учпедгизе вышло учебное пособие для школы, где мальчиков и девочек учат писать вот таким языком:

«*учитывая вышеизложенное*»,
«*получив нижеследующее*»,
«*указанный период*»,
«*означенный спортивный инвентарь*»,
«*выдана данная справка*»

и даже:

«*Дана в том, что... для данной бригады*» [П. И. Горбунов, Деловые бумаги. М., стр. 7, 8, 13, 21, 25.].

Называется книжка «Деловые бумаги», и в ней школьникам даются указания, как писать протоколы, удостоверения, справки, расписки, доверенности, служебные доклады, накладные и т. д.

Я вполне согласен с составителем книжки: слова и выражения, рекомендуемые им детворе, надобно усвоить с малых лет, ибо потом будет поздно. Я, например, очень жалею, что в детстве меня не учили изъясняться на таком языке: составить самую простую деловую бумагу для меня воистину каторжный труд. Мне легче исписать всю страницу стихами, чем «*учитывать вышеизложенное*» и «*получать нижеследующее*».

Правда, я лучше отрублю себе правую руку, чем напишу нелепое древнечиновицье «*дана в том*» или «*дана... что для данной*», но что же делать, если подобные формы коробят только меня, литератора, а работники учреждений и ведомств вполне удовлетворятся ими?

«Почему-то, — пишет в редакцию газеты один из читателей, — полагают обязательным оформлять различные акты именно так, как оформлял их петровский дьяк, например: «Акт восемнадцатого дня, апреля месяца 1961 года», и уже дальше обязательно традиционные: *мы, нижеподписавшиеся* и т. д. Почему не написать просто: «Акт 18 апреля 1961 года». И без *нижеподписавшихся* ? Ведь внизу акта подписи, и ясно, что комиссия является *нижеподписавшейся*».

Можно привести много примеров, когда в служебной переписке фигурируют такие шедевры, как: «*на основании сего*», «*означенный*», «*а посему*», и другие такие же перлы, «*которым от души позавидовал бы любой гоголевский герой*» (из письма В.С. Кондратенко, работника Липецкого совнархоза).

Но при официальных отношениях людей нельзя же обойтись без официальных выражений и слов. По крайней мере один из современных филологов убеждает читателей, что директор учреждения поступил бы бестактно, если бы вывесил официальный приказ, написанный в стиле непринужденной беседы:

«*Наши женщины хорошо поработали, да и в общественной жизни себя неплохо показали. Надо их порадовать: скоро ведь 8 Марта наступит! Мы тут посоветовались и решили дать грамоты...*»

Филолог убежден, что в данном случае этот стиль не имел бы никакого успеха: его сочли бы чудаковатым и диким. По мнению филолога, тот же приказ следовало бы составить в таких выражениях:

«*В ознаменование Международного женского дня за выдающиеся достижения в труде и плодотворную общественную деятельность вручить грамоты товарищам...*» [В. Г. Костомаров, Культура речи и стиль. М., 1960, стр. 27.].

Возможно, что филолог и прав: должен же существовать официальный язык в государственных документах, в дипломатических нотах, в реляциях военного ведомства.

Но представьте себе, что в этом же стиле заговорит с вами ваша жена, беседа за обедом о домашних делах.

«Я ускоренными темпами, — скажет она, — обеспечила восстановление надлежащего порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном помещении общего пользования (то есть на кухне. — **К.Ч.**). В последующий период времени мною было организовано посещение торговой точки с целью приобретения необходимых

продовольственных товаров”.

После чего вы, конечно, отправитесь в загс, и там из глубочайшего сочувствия к вашему горю немедленно расторгнут ваш брак.

Ибо одно дело — официальная речь [Хотя, конечно, не мешало бы упростить до предела и нашу официальную речь. Зачем писать: “будучи болен, я не не мог пойти в школу”, если гораздо естественнее и проще сказать: “я заболел и не мог пойти”, или: “из-за болезни я не пошел в школу”, или: “тогда-то я болел и не мог” и т. д. (См. А. В. Миртов, Говори правильно. Горький, 1961, стр. 30).], а другое — супружеский разговор с глазу на глаз. “Чувство соразмерности и сообразности” играет и здесь решающую роль: им определяется стиль нашей речи [В. Г. Костомаров, Культура речи и стиль. М., 1960, стр. 24-25].

Помню, как смеялся А. М. Горький, когда бывший сенатор, почтенный старик, уверявший его, что умеет переводить с “десяти языков”, принес в издательство “Всемирная литература” такой перевод романтической сказки:

“За неимением красной розы, жизнь моя будет разбита”.

Горький указал ему, что канцелярский оборот “за неимением” неуместен в романтической сказке. Старик согласился и написал по-другому:

“Ввиду отсутствия красной розы жизнь моя будет разбита”,

чем доказал полную свою непригодность для перевода романтических сказок. Этим стилем перевел он весь текст:

“Мне нужна красная роза, и я добуду себе таковую”.

“А что касается моего сердца, то оно отдано принцу” [Корней Чуковский, Высокое искусство. М., 1941, стр. 62-63].

“За неимением”, “ввиду отсутствия”, “что касается” — все это было необходимо в тех казенных бумагах, которые всю жизнь подписывал почтенный сенатор, но в сказке Оскара Уайльда это кажется бездарною чушью.

Поэтому книжка “Деловые бумаги” была бы еще лучше, еще благодетельнее, если бы ее составитель обратился к детям с таким увещанием:

— Запомните раз навсегда, что рекомендуемые здесь формы речи надлежит употреблять исключительно в официальных бумагах. А во всех других случаях — в письмах к родным и друзьям, в разговорах с товарищами, в устных ответах у классной доски — говорить этим языком воспрещается. Не для того наш народ вместе с гениями русского слова — от Пушкина до Чехова и Горького — создал для нас и для наших потомков богатый, свободный и сильный язык, поражающий своими изощренными, гибкими, бесконечно разнообразными формами, не для того нам оставлено в дар это величайшее сокровище нашей национальной культуры, чтобы мы, с презрением забросив его, свели свою речь к нескольким десяткам штампованных фраз.

Сказать это нужно с категорической строгостью, ибо в том и заключается главная наша беда, что среди нас появилось немало людей, буквально влюбленных в канцелярский шаблон, щеголяющих — даже в самом простом разговоре! — бюрократическими формами речи.

II

Я слышал своими ушами, как некий посетитель ресторана, желая заказать себе свиную котлету, сказал официанту без тени улыбки:

— А теперь *заострим вопрос* на мясе.

И как один дачник во время прогулки в лесу заботливо спросил у жены:

— Тебя не *лимитирует* плащ?

Обратившись ко мне, он тут же сообщил не без гордости:

— Мы с женою никогда не *конфликтуем!*

Причем я почувствовал, что он гордится не только отличной женой, но и тем, что ему доступны такие слова, как *конфликтовать*, *лимитировать*.

Мы познакомились. Оказалось, что он ветеринар, зоотехник и что под Харьковом у него есть не то огород, не то сад, в котором он очень любит возиться, но служба отвлекает его.

— *Фактор времени...* Ничего не поделаешь! — снова щегольнул он культурностью своего языка.

С таким щегольством я встречаюсь буквально на каждом шагу.

В поезде молодая женщина, разговорившись со мною, расхваливала свой дом в подмосковном колхозе:

— Чуть выйдешь за калитку, сейчас же *зеленый массив!*

— В нашем *зеленом массиве* так много грибов и ягод.

И видно было, что она очень гордится собою за то, что у нее такая “культурная” речь.

Та же гордость послышалась мне в голосе одного незнакомца, который подошел к моему другу, ловившему рыбу в соседнем пруду, и, явно щеголяя высокой “культурностью речи”, спросил:

— Какие *мероприятия* предпринимаете вы для *активизации* клева?

— Стерегу *индивидуальных* свиней! — сказал мне лет десять назад один бородатый пастух.

Как бы ни были различны эти люди, их объединяет одно: все они считают правилом хорошего тона возможно чаще вводить в свою речь (даже во время разговора друг с другом) слова и обороты канцелярских бумаг, циркуляров, реляций, протоколов, докладов, донесений и рапортов.

Дело дошло до того, что многие из них при всем желании не могут выражаться иначе: так глубоко погрязли они в своем департаментском стиле.

Молодой человек, проходя мимо сада, увидел у калитки пятилетнюю девочку, которая стояла и плакала. Он ласково наклонился над ней. и, к моему изумлению, сказал:

— Ты *по какому вопросу* плачешь?

Чувства у него были самые нежные, но для выражения нежности не нашлось человеческих слов.

В “Стране Муравии” даже старозаветный мужик Моргунок, превосходно владеющий народной речью, и тот нет-нет да и ввернет в разговор чиновничий оборот, канцелярское слово:

А что касается меня,
Возьмите то в расчет, -
Поскольку я лишен коня,
Ни взад мне, ни вперед.

Иные случаи такого сочетания двух стилей не могут не вызвать улыбки. Эта улыбка, и притом очень добрая, чувствуется, например, в стихах Исаковского, когда он приводит хотя бы такое письмо одной юной колхозницы к человеку, в которого она влюблена:

Пишу тебе
Официально
И жду дальнейших *директив*.

Признаться, и я улыбнулся недавно, когда знакомая уборщица, кормившая голубей на балконе, вдруг заявила в сердцах:

— Энти голуби — чистые свиньи, надо их отседа *аннулировать!*

Фраза чрезвычайно типичная. *Аннулировать* мирно уживается в ней с *отседа* и *энти*.

Но хотя в иных случаях сосуществование стилей и может показаться забавным, примириться с ним никак не возможно, ибо в стихию нормаль-1ной человеческой речи и здесь врывается все та же канцелярия.

Официозная манера выразиться отозвалась даже на стиле объявлений и вывесок. Уже не раз отмечалось в печати, что “Починка белья” на нынешних вывесках называется “Ремонт белья”, а швейные мастерские — “Мастерскими индпошива” (“индивидуальный *пошив*”).

“*Индпошив* из материала заказчика” — долго значилось на вывеске одного ателье.

Эта языковая тенденция стала для меня особенно явной на одном из кавказских курортов. Там существовала лет десять лавчонка, над которой красовалась простая и ясная вывеска: “*Палки*”.

Недавно я приехал в тот город и вижу: лавчонка украшена новой вывескою, где те же

палки именуются так: “*Палочные изделия*”. Я спросил у старика продавца, почему он произвел эту замену. Он взглянул на меня, как на несомненного олуха, не понимающего простейших вещей, и не удостоил ответом. Но в лавке находился покупатель, который пояснил снисходительно, что *палочные изделия* гораздо “красивше”, чем *палки*.

Едва только я вышел из этой лавчонки, я увидел вывеску над бывшей кондитерской: “*Хлебобулочные изделия*”. А за углом в переулке меня поджидали: “*Чулочно-носочные изделия*”. Соберите эти отдельные случаи, и вы увидите, что все они в своей совокупности определяют собою очень резко выраженный процесс вытеснения простых оборотов и слов канцелярскими.

Особенно огорчительно то, что такая “канцеляризация” речи почему-то пришлась по душе обширному слою людей. Эти люди простодушно уверены, что *палки* - низкий слог, а *палочные изделия* - высокий. Им кажутся весьма привлекательными такие, например, анекдотически корявые формы, как:

“*Обрыбление пруда карасями*”, “*Крысонепроницаемость зданий*”, “*Обсеменение девушками дикого поля*”, “*Удобрение в лице навоза*” и т. д., и т. д., и т. д.

Многие из них упиваются этим жаргоном как великим достижением культуры.

Та женщина, которая в разговоре со мною называла *зеленым массивом* милые ее сердцу леса, несомненно, считала, что этак “гораздо культурнее”. Ей — я уверен — чудилось, что, употребив это ведомственное слово, она выкажет себя перед своим собеседником в наиболее благоприятном и выгодном свете. Дома, в семейном кругу, она, несомненно, говорит по-человечески: роща, перелесок, осинник, дубняк, березняк, но чудесные эти слова кажутся ей слишком деревенскими, слишком простецкими, и вот в разговоре с “культурным” городским человеком она изгоняет их из своего лексикона, предпочитая им “зеленый массив”.

Это очень верно подметил П. Нилин. По его словам, “человек, желающий высказаться “покультурнее”, не решается порой назвать шапку шапкой, а пиджак пиджаком. И произносит вместо этого строгие слова: головной убор или верхняя одежда” [П. Нилин, Опасность не там. “Новый мир”, 1958, № 4.].

“*Головной убор*”, “*зеленый массив*”, “*в курсе деталей*”, “*палочные изделия*”, “*конфликтовать*”, “*лимитировать*”, “*гужевой транспорт*” для этих людей парадные и щегольские слова, а шапка, лес, телега — затрапезные, будничные. Этого мало. Сплошь и рядом встречаются люди, считающие канцелярскую лексику коренной принадлежностью подлинно литературного, подлинно научного стиля.

Ученый, пишущий ясным, простым языком, кажется им плоховатым ученым. И писатель, гнушающийся официозными трафаретами речи, представляется им плоховатым писателем.

“Прошли сильные дожди”, — написал молодой литератор В. Зарецкий, готовя радиопередачу в одном из крупных колхозов под Курском. Заведующий клубом поморщился: — Так не годится. Надо бы литературнее. Напишите-ка лучше вот этак: “*Выпали обильные осадки*” [Сообщено В. Зарецким.].

Литературность виделась этому человеку не в языке Льва Толстого и Чехова, а в штампованном жаргоне казенных бумаг. Здесь же, по убеждению подобных людей, главный, неотъемлемый признак учености.

Некий агроном, автор ученой статьи, позволил себе ввести в ее текст такие простые слова, как *мокрая земля* и *глубокий снег*.

— Вы не уважаете читателя! — накинулся на него возмущенный редактор. — В научной статье вы обязаны писать — *глубокий снежный покров* и *избыточно увлажненная почва* [Вит. Бианки, Мысли вслух. “Звезда”, 1955, № 7, стр. 136.].

Статья или книга может быть в научном отношении ничтожна, но если общепринятые, простые слова заменены в ней вот такими бюрократически закругленными формулами, ей охотно отдадут предпочтение перед теми статьями и книгами, где снег называется снегом, дождь — дождем, а мокрая почва — мокрой.

“Изобрети, к примеру, сегодня наши специалисты кирпич в том виде, в каком он известен сотни лет, они назвали бы его не кирпичом, а непременно чем-то вроде *легкоплавкого, песчано-глинистого обжигоблока* или как-то в этом роде”, — пишет в редакцию “Известий” читатель Вас. Малаков.

И “научность” и “литературность” мерещится многим именно в этом омертвелом жаргоне. Многие псевдоученые вменяют себе даже в заслугу такой тяжелый, претенциозно-напыщенный слог. Это явление не новое. Еще Достоевский писал:

“Кто-то уверял нас, что если теперь иному критику захочется пить, то он не скажет прямо и просто: “принеси воды”, а скажет, наверное, что-нибудь в таком роде:

— Привнеси то существенное начало овлажнения, которое послужит к размягчению более твердых элементов, осложнившихся в моем желудке” [*Ф.М. Достоевский*, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 74.]

Конечно, со стороны представляется диким, что существует эстетика, предпочитающая бесцветные, малокровные, стерилизованные, сухие слова прекрасным, образным, общенародным словам. Но невозможно отрицать, что эта эстетика до самого последнего времени была очень сильна и властительна.

У многих и сейчас существуют как бы два языка: один для домашнего обихода и другой для щегольства “образованностью”. Константин Паустовский рассказывает о председателе сельсовета в среднерусском селе, талантливом и остроумном человеке, разговор которого в обыденной жизни был полон едкого и веселого юмора. Но стоило ему взойти на трибуну, как, подчиняясь все той же убогой эстетике, он тотчас начинал канителить:

— “Что мы имеем на сегодняшний день в смысле дальнейшего развития товарной линии производства молочной продукции и ликвидации ее отставания по плану надоев молока?”

“Назвать этот язык русским, — говорит Паустовский, — мог бы только жесточайший наш враг” [*Константин Паустовский*, Живое и мертвое слово, “Известия” от 30 декабря 1960 года.].

Это было бы справедливо даже в том случае, если бы во всей речи почтенного колхозного деятеля не было ни единого иноязычного слова.

К сожалению, дело обстоит еще хуже, чем полагает писатель: канцелярский жаргон просочился даже в интимную речь. На таком жаргоне — мы видели — пишутся даже любовные письма. И что печальнее в тысячу раз — он усиленно прививается детям чуть не с младенческих лет.

В газете “Известия” в прошлом году приводилось письмо, которое одна восьмилетняя школьница написала родному отцу:

“Дорогой папа! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых достижений в труде, успехов в работе и личной жизни. Твоя дочь Оля”.

Отец был огорчен и раздосадован:

— Как будто телеграмму от месткома получил, честное слово.

И обрушил свой гнев на учительницу:

— У чите, у чите, а потом и вырастет этакий бюрократ: слова человеческого не вымолвит!.. [*Н. Долинина*, Маскарад слов. “Известия” от 29 ноября 1960 года.]

Письмо действительно бюрократически черствое, глубоко равнодушное, без единой живой интонации.

Горе бедного отца мне понятно, я ему глубоко сочувствую, тем более что и я получаю такие же письма. Мне, как и всякому автору книг для детей, часто пишут школьники, главным образом маленькие, первого класса. Письма добросердечные, но, увы, разрывая конверты, я заранее могу предсказать, что почти в каждом письме непременно встретятся такие недетские фразы:

“Желаем вам новых достижений в труде”, “желаем вам творческих удач и успехов...”.

“Новые достижения”, “творческие успехи” — горько видеть эти стертые трафаретные фразы, выведенные под руководством учителей и учительниц трогательно-неумелыми детскими пальцами. Горько сознавать, что в наших школах, если не во всех, то во многих, иные педагоги уже с первого класса начинают стремиться к тому, чтобы “канцеляризировать” речь детей.

И продолжают это недоброе дело до самой последней минуты их пребывания в школе.

Конечно, невозможно считать шаблоны человеческой речи всегда, во всех случаях жизни свидетельством ее пустоты. Без них не может обойтись, как мы знаем, даже наиболее сильный, наиболее творческий ум. Привычные комбинации примелькавшихся оборотов и слов, стертые от многолетнего вращения в мозгу, чрезвычайно нужны в бытовом обиходе для экономки наших умственных сил: не изобретать же каждую минуту новые небывалые формулы речевого общения с людьми! [Отсюда то “забвение этимологии слов”, без которого, как указывает проф. Л. А. Булаховский, жизнь языка невозможна. (См. его книгу “Введение в языкознание”, ч. II. М., 1954, стр. 24 и след.)].

Такие трафареты, как “здравствуйте”, “прощайте”, “добро пожаловать”, “милости просим”, “спит как убитый” и пр., мы всегда говорим по инерции, не вдумываясь в их подлинный смысл, подобно тому как мы говорим “перочинный нож”, невзирая на то, что уже более ста лет никто никаких перьев им не чинит.

Но есть такие житейские случаи, когда словесные трафареты немислимы.

Хоронили одного старика, и меня поразило, что каждый из надгробных ораторов начинал свою унылую речь одной и той же заученной формулой:

— Смерть вырвала из наших рядов...

И мне подумалось, что тот древний надгробный оратор, который впервые произнес эту живописную фразу над каким-нибудь древним покойником, был, несомненно, человек даровитый, наделенный воображением поэта. Он ясно представил себе хищницу-смерть, которая налетела на тесно сплоченных людей и вырвала из их рядов свою добычу.

Но тот двадцатый и сотый оратор, который произносит эту фразу как привычный, ходячий шаблон, не вкладывает в нее ни малейшей эмоции, потому что живое чувство всегда выражается живыми словами, хлынувшими прямо из сердца, а не попугайным повторением заученных формул.

“Нет, — подумал я, — они не любили покойного и несколько не жалеют, что он умер”.

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,

И равнодушно ей внимал я.

Но вот попрощаться с умершим подвели его ближайшего друга. Он буквально ослеп от слез. Видно было, что горе у него непритворное. Встав у самого края раскрытой могилы, он молча смотрел в нее, потрясенный отчаянием, и, наконец, к великому моему изумлению, сказал:

— Смерть вырвала из наших рядов...

Вот до чего поработает ослабевших людей мертвая сила шаблона. Даже самое искреннее, свежее, непритворное чувство выражают они стертыми, стандартными фразами.

К счастью, это случается редко, так как в огромном большинстве случаев каждый словесный шаблон — и здесь его главная суть — прикрывает собой равнодушие. Шаблонами люди чаще всего говорят по инерции, совершенно не переживая тех чувств, о которых они говорят. Поэтому в старое время было так много шаблонов именно в бюрократической речи, созданной специально затем, чтобы прикрывать наплевательство к судьбам людей и вещей.

Подлинная жизнь со всеми ее красками, тревогами, запахами, бурлившая вдали от канцелярий, в ней не отражалась никак. Уводя нашу мысль от реальностей жизни, затуманивая ее мутными фразами, этот жаргон был по самому своему существу — **аморален**. Жульнический, бесчестный жаргон. Потому что вся его лексика, весь его синтаксический строй представляли собою, так сказать, дымовую завесу, отлично приспособленную для сокрытия истины. Как и все, что связано с бюрократическим образом жизни, он был призван служить беззаконию. Вспомним хотя бы казенную бумагу, название которой воспроизводится Герценом:

“Дело о потере неизвестно куда дома волостного правления и об изгрызении плана ононого мышами”.

Конечно, и сама по себе отвратительна формула этого чиновничьего жаргона: эта “потеря неизвестно куда”, это “изгрызение плана”, но в тысячу раз отвратительнее то, что крылось за этим жаргоном. Ведь дело шло о чудовищной краже: в городе среди бела дня на глазах у всех жителей был похищен огромный дом, и, чтобы упрятать следы преступления, чиновники уничтожили те чертежи, на которых был изображен этот дом, и свалили свою вину на ни в чем

не повинных мышей.

Такие воровские дела сплошь и рядом скрывались в ту пору за дымовой завесой “канцелярского стиля”. Оттого-то в нашей стране “бюрократ” — одно из наиболее ругательных слов. “Я волком бы выгрыз бюрократизм”, — эта строка Маяковского прозвучала как девиз всей советской эпохи. К сожалению, “выгрызть бюрократизм” приходится нам кое-где и сейчас.

Всякий приспособленец, пользовавшийся революционной фразеологией с карьеристскими целями, ловко превращал ее в бездушную мозаику штампованных оборотов и слов. Какой удобной ширмой для злостных очковтирателей служила штампованная казенная речь с ее застывшими словесными формулами, очень наглядно показано в великолепном гротеске Ильфа и Петрова:

“Задание, например, следующее:

— Подметайте улицы.

Вместо того чтобы сейчас же выполнить этот приказ, крепкий парень поднимает вокруг него бешеную суету. Он выбрасывает лозунг:

— Пора начать борьбу за подметание улиц.

Борьба ведется, но улицы не подметаются. Следующий лозунг уводит дело еще дальше:

— Включимся в кампанию по организации борьбы за подметание улиц.

Время идет, крепкий парень ие дремлет, и на “неподметенных улицах вывешиваются новые заповеди:

— Все на выполнение плана по организации кампании борьбы за подметание.

И, наконец, на последнем этапе первоначальная задача совершенно уже исчезает, и остается одно только запальчивое, визгливое лопотанье.

— Позор срывщикам кампании за борьбу по выполнению плана организации кампании борьбы” [И. Ильф, Е. Петров. Дневная гостиница. Из книги “Фельетоны и рассказы”. М., 1957.].

Даже великое слово “борьба” в устах этих бюрократических лодырей стало дешевым шаблоном, употребляемым специально затем, чтобы уклониться от всякой борьбы! Здесь перед нами вскрывается главная злобедность шаблона: он превращает в пустышку каждую, даже самую эмоциональную, самую пылкую фразу. Даже страстные призывы к труду, сделавшись привычными штампами, служат, в сущности, безделью и косности.

К тому же жаргону вполне применимы слова Маяковского:

Как нарочно создан он
Для чиновничьих деячеств.

(“Служака”)

Хотелось ли “крепкому парню”, чтобы улицы были очищены от грязи и мусора? Нисколько. Скорее напротив. Единственное, к чему он стремился, это чтобы его безделье показалось начальству работой, а его наплевательское равнодушие к делу-энтузиазмом горячего сердца.

И, конечно, он достиг своей цели. Ведь словесные штампы выработаны с древних времен хитроумным сословием чиновников для той специфической формы обмана, которая и называется втиранием очков. Потому-то мы с таким недоверием относимся к штампованным фразам: их так часто порождает стремление увильнуть от действительных фактов, дать искаженное представление о них.

Все дело в том, что бюрократическая мысль абстрактна.

“Бюрократа, — говорит Александр Морозов, — интересуют не отдельные живые люди, а некие подотчетные единицы, которые занимают “жилплощадь” в “жилмассивах”, завтракают в “диеткафе”, отдыхают в “лесопарках”, работают в “стройорганизациях”, на “медпунктах”, на “птицефермах”... И уже не человек, а безликий “койкодень” обретается в больнице, и не куры кудахчут на “птицефермах”, а некие “яйценосные” отвлеченности.

Бюрократизм словно ищет и с успехом находит достойное отражение в языке отчетов, приказов и резолюций. Там, где штамп, рутина, бездушное списывание залежавшихся мыслей,

устаревших формул, — там непременно канцелярщина в языке, дремучий лес непроходимых фраз” [*Александр Морозов*, Заметки о языке. “Звезда”, 1954, № 11, стр. 143.]

Недаром В. И. Ленин так часто указывал, что за “казенно русским языком” скрывается реакционная ложь. “Ведь выберут же люди этакий казенно-либеральный стиль”, — возмущался он постепенцами из социал-демократов, которые при помощи этого стиля пытались утаить контрреволюционную сущность своих идеалов [*В. И. Ленин*, Соч., т. 7, стр. 91, т. 18, стр. 361.]. “Мы должны, — писал Ленин, — выставлять свои... социал-демократические законопроекты, писанные не канцелярским, а революционным языком” [*В. И. Ленин*, Соч., т. 7, стр. 91, т. 18, 12, стр. 155-156.]. “Обличая царское самодержавие, — пишет современный исследователь, — Ленин никогда не забывал упомянуть о “невероятно тяжелых, неуклюжих, канцелярских оборотах речи” [*В. И. Ленин*, Соч., т. 7, стр. 91, т. 8, стр. 176.] излюбленных царскими министрами и другими высокопоставленными чиновниками” [См. статью *Б. В. Яковлева* “Классики марксизма-ленинизма о языке и стиле” в сб. “Язык газеты”.].

С горькой иронией отзывался Владимир Ильич об этом зловередном стиле:

“...великолепный канцелярский стиль с периодами в 36 строк и с “речениями”, от которых больно становится за родную русскую речь” [*В. И. Ленин*, Соч., т. 5, стр. 211-212.]. Приведя эти строки и сопоставляя их с другими его высказываниями, тот же исследователь приходит к совершенно справедливому выводу, что для Ленина “канцелярский стиль-это механическое повторение штампованных, застывших словесных формул, злоупотребление тяжелыми оборотами, это увертки от конкретных и смелых выводов” [Язык газеты”. М.-Л., 1941, стр. 55-56.].

Советская сатира не раз ополчалась против новых канцелярских шаблонов, которые пускаются в ход специально затем, чтобы придать благовидный характер в высшей степени неблаговидным явлениям. Вспомним, например, Маяковского:

Учрежденья объаты ленью.
 Заменяли дело канителью длинною.
 А этот
 отвечает
 любому заявлению:
 — *Ничего,*
выравниваем
линию.
 Надо геройство,
 надо умение,
 Чтоб выплыть
 из канцелярии вязкой,
 А этот
 жмет плечьми в недоумении:
 — *Неувязка!*

Штампованными фразами, как мы только что видели, могут стать самые пылкие, живые, эмоциональные сочетания слов, выражающие благородное чувство — стоит только этим оборотам войти в обиход равнодушных и черствых людей. Об этом очень верно говорит Лев Кассиль:

“Такие тирады, как «в обстановке неслыханного подъема», «с огромным энтузиазмом» и другие, часто механически и не к месту повторяемые. уже стираются в своем звучании, теряют свой глубокий первичный смысл, становятся недопустимо ходовыми: для них уже у стенографисток имеются заготовленные знаки — один на целую фразу... действие подобного рода гладеньких, обкатанных уже в десятках или сотнях стандартных докладов, вписанных во все лекторские шпаргалки фраз не менее зловередно, чем влияние слишком лихих оборотов речи, на которые так падки некоторые наши молодые люди” [*Л. Кассиль*, Слова-калеки и слова-дистрофики. “Новый мир”, 1958, № 4.].

IV

Этот департаментский, стандартный жаргон внедрялся и в наши бытовые разговоры, и в переписку друзей, и в школьные учебники, и в критические статьи, и даже, как это ни странно, в диссертации, особенно по гуманитарным наукам.

Стиль этот расцвел в литературе, начиная с середины 30-х годов. Похоже, что в настоящее время он мало-помалу увядает, но все же нам еще долго придется выкорчевывать его из наших газет и журналов, лекций, радиопередач и т. д.

Казалось бы, можно ли без радостного сердцебиения и душевного взлета говорить о таких великанах, прославивших нас перед всем человечеством, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Толстой, Достоевский, Чехов? Оказывается, можно, и даже очень легко.

Стоит только прибегнуть к тому языку, какой рекомендует учащимся составитель книжки «Деловые бумаги»: «учитывая *вышеизложенное*», «имея в виду *нижеследующее*».

Даже о трагедии в стихах еще недавно писали вот такими словами:

«*Эта последняя* в общем и целом не может не быть квалифицирована, как...» И о новой поэме: «*Эта последняя* заслуживает положительной оценки» (словно писал оценщик ломбарда). Даже о Пушкине — «этот последний»: «Внимание, которое проявил Раевский к судьбе Пушкина во время пребывания *последнего* (!) в Екатеринославле...»

«Баллада Мицкевича близка к балладам Пушкина, и не случайно *последний* (!) восторженно оценил их...»

И словно специально затем, чтобы не было ни малейшей отдушины для каких-нибудь пылких эмоций, чуть ли не каждая строка обволакивалась нудными и вязкими фразами: «*нельзя не отметить*», «*нельзя не признать*», «*нельзя не указать*», «*поскольку при наличии вышеуказанной ситуации*» и т. д. «Обстановку, в которой протекало детство поэта, *нельзя не признать* весьма неблагоприятной».

«В этом плане *следует признать* эволюцию профиля села Кузьминского (в поэме «Кому на Руси жить хорошо»)».

Молодая аспирантка, неглупая девушка, в своей диссертации о Чехове захотела выразить ту вполне справедливую мысль, что, хотя в театрах такой-то эпохи было немало хороших актеров, все же театры оставались плохими.

Мысль незатейливая, общедоступная, ясная. Это-то и испугало аспирантку. И чтобы придать своей фразе научную видимость, она облекла ее в такие казенные формы:

«Полоса застоя и упадка отнюдь *не шла по линии отсутствия* талантливых исполнителей». Хотя «полоса» едва ли способна идти по какой бы то ни было «линии», а тем более по «линии отсутствия», аспирантка была удостоена ученого звания — может быть, именно за «линию отсутствия».

Другая аспирантка приехала из дальнего края в Москву собирать материал о Борисе Житкове, о котором она предполагала писать диссертацию. Расспрашивала о нем и меня, его старинного друга. Мне почудилась в ней тонкость понимания, талантливость, и видно было, что тема захватила ее.

Но вот диссертация защищена и одобрена. Читаю — и не верю глазам:

«Необходимо *ликвидировать отставание* на *фронте недопонимания сатиры*». «Фронт недопонимания»! Почему милая и, несомненно, даровитая девушка, едва только вздумала заговорить по-научному, сочла необходимым превратиться в начпупса? Я высказал ей свое огорчение, и она прислала мне такое письмо: «Жаргон, которым вы так возмущаетесь, прививается еще в школе... Университет довершил наше языковое образование в том же духе, а чтение литературоведческих статей окончательно отшлифовало наши перья». И она совершенно права.

Представьте себе, например, что эта девушка еще на университетской скамье заинтересовалась поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и, раскрыв ученую книгу, прочитала в ней вот такие слова:

«Творческая обработка образа дворового идет *по линии усиления показа* трагизма его судьбы...» Тут и вправду можно закричать караул. Что это за «линия показа» и почему эта

непонятная линия ведет за собою пять родительных падежей друг за дружкой: линия (чего?) усиления (чего?) показа (чего?) трагизма (чего?) судьбы (кого?)?

И что это за надоедливый “показ”, без которого, кажется, не обходится ни один литературоведческий труд? “Показ трагизма”, “показ этого крестьянина”, “показ народной неприязни”, “показ ситуации” и даже “показ этой супружеской четы”.)

Нужно быть безнадежно глухим к языку и **не слышать** того, что ты пишешь, чтобы создать эту чудовищно-косноязычную фразу. Далее девушка читает о том, что:

“Островский проводит *линию* отрицания и обличения”, а Некрасов “идет *по линии* расширения портрета за счет внесения сюда...” И в конце концов ей начинает казаться, что это-то и есть настоящий научный язык!

Да и не может она думать иначе. Ведь чем больше подобных оборотов и слов она внесет в свои зачетные работы на любую историко-литературную тему, тем больше одобрений получит она от тех, кто руководит ее умственной жизнью. Потому что и сами руководители в той или иной степени питают пристрастие к этому псевдонаучному слогу и употребляют его даже тогда, когда он приводит к полнейшей бессмыслице.

Вот, например, каким слогом пишут методисты, руководящие работой педагогов:

“Мы убедились, что знания (чего?) динамики (чего?) образа (кого?) Андрея Волконского (кого?) учащихся (чего?) экспериментального класса оказались...” и т.д. [М. А. Беляев, Опыт экспериментального изучения образа Андрея Волконского. “Известия Академии педагогических наук РСФСР”, вып. 109, 1959, стр. 153-154.]. Снова пять родительных падежей в самой дикой, противоестественной связи!

Прочтите эту нескладицу вслух, и вы увидите, что, помимо всего, она вопиюще безграмотна, ибо слово *учащихся* поставлено не там и не в том падеже.

Если бы я был учителем и какой-нибудь школьник десятого класса подал мне свое сочинение, написанное таким отвратительным слогом, я был бы вынужден поставить ему единицу.

Между тем это пишет не ученик, это пишег ученый, и не где-нибудь, а в “Известиях Академии педагогических наук РСФСР”, и цель его статьи— внушить педагогам-словесникам, как они должны учить учеников наилучшему обращению со словом.

Оказывается, этому профессиональному словеснику все еще осталось неведомо правило, запрещающее такие длинные цепи родительных.

С творительным канцелярского стиля дело обстоит еще хуже. Казалось бы, как не вспомнить те уасмешки над этим творительным, которые так часто встречаются у старых писателей.

У Писемского:

“Дело о влетиении и разбитии стекол *вороною* ...” У Герцена: “Дело... об изгрызении плана оного *мышами*...” У Чехова: “Объявить вдове Вониной, что в неприлеплении *ею* шестидесятикопеечной марки...” и т. д. (IV, 240). Я не удивился бы, встретив такой оборот в каком-нибудь нескладном протоколе, но может ли словесник, учитель словесников, говоря о величайшем произведении русского слова, ежеминутно прибегать к этой форме? “Особенности изображения *Л.Н. Толстым* человека...”

“Полное представление (!) *ими* портрета”.

В умной книге, посвященной детскому языку (языку!), то и дело встречаются такие конструкции: “Овладение *ребенком* родным языком”.

“Симптом овладения *ребенком* языковой действительностью” [Д. Б. Эльконин. Развитие речи в дошкольном возрасте, 1958, стр. 62 и 63.].

Между тем нынче не всякий управдом рискнет написать приказ: “О недопущении *жилъцами* загрязнения лестницы *кошками*”. А литераторы без зазрения совести пишут: “Освещение *Блоком* темы фараона”,

“показ *Пушкиным*”, “изображение *Толстым*”.

И даже: “Овладение *школьниками* прочными навыками” (!!!) [“Русский язык в школе”, 1953, № 4.]. Как-то даже совестно видеть такое измывательство над живой русской речью в журнале, носящем название “Русский язык в школе” и специально посвященном заботам о чистоте родного языка. Казалось бы, человек, который позволил себе написать “овладение

школьниками прочными навыками”, уже из-за одной этой строчки лишается права поучать правильной речи других. Ведь даже пятиклассники знают, что скопление творительных неизбежно приводит к таким бестолковейшим формам: — Картина написана маслом художником .

— Герой награжден орденом правительством .

— Он назначен министром директором [Б. Н. Головин, О культуре русской речи. Вологда, 1956, стр. 96. См. также обычные газетные формулы: “злоупотребление тов. Прудкиным своим служебным положением” и т. д.].

Но это нисколько не смущает убогого автора. Он храбро озаглавил свою хромую статейку: “За дальнейший подъем грамотности учащихся”, и там, нисколько не заботясь о собственной грамотности, буквально захлебывается милыми ему административными формами речи: “*надо отметить*”, “*необходимо признать*”, “*приходится снова указывать*”, “*приходится отметить*”, “*особо надо остановиться*”, “*следует особо остановиться*”, “*необходимо указать*”, “*необходимо добавить*”, “*необходимо прежде всего отметить*”, “*следует иметь в виду*” и т. д. [“Русский язык в школе”, 1953, № 4.].

И все это зря, без надобности, ибо каждый, кто берет в руки перо, как бы заключает молчаливое соглашение с читателями, что в своих писаниях он будет “отмечать” только то, что считает необходимым “отметить”. Иначе и Пушкину пришлось бы писать:

Надо отметить, что в синем небе звезды блещут,
Необходимо сказать, что в синем море волны хлещут,
Следует особо остановиться на том, что туча по небу идет,
Приходится указать, что бочка по морю плывет.

Охотно допускаю, что в официальных речах такие обороты бывают уместны, да и то далеко не всегда. Но каким нужно быть рабом канцелярской эстетики, чтобы услаждать себя ими в крохотной статейке, повторяя чуть ли не в каждом абзаце, на пространстве трех с половиной страничек: “необходимо остановиться”, “необходимо признать”. Человек поучает других хорошему литературному стилю и не видит, что его собственный стиль анекдотически плох. Чего стоит одно это “*остановиться на*”, повторяемое, как узор на обоях. Теперь этот узор в большом ходу.

“*Остановлюсь на вопросе*”,
“*остановлюсь на успеваемости*”,
“*остановлюсь на недостатках*”,
“*остановлюсь на прогулах*”,

и на чем только не приходится останавливаться кое-кому из тех, кто не дорожит русским словом!” — меланхолически замечает современный лингвист Б.Н. Головин.

Так же канцеляризировалось слово *вопрос*: “тут, — говорит тот же автор, —

и “*осветить вопрос*”,
и “*увязать вопрос*”,
и “*обосновать вопрос*”,
и “*поставить вопрос*”,
и “*продвинуть вопрос*”,
и “*продумать вопрос*”,
и “*поднять вопрос*” (да еще “*на должный уровень*” и “*на должную высоту*!”)..

Все понимают, что само по себе слово “вопрос”, — продолжает ученый, — не такое уж плохое. Больше того: это слово нужное, и оно хорошо служило и служит нашей публицистике и нашей деловой речи. Но когда в обычном разговоре, в беседе, в живом выступлении вместо простого и понятного слова “рассказал” люди слышат “осветил вопрос”, а вместо “предложил обменяться опытом” — “поставил вопрос об обмене опытом”, им становится немножко грустно [Б. Н. Головин, О культуре русской речи. Вологда, 1956, стр. 44-45.].

Головин говорит об ораторской речи, но кто же не знает, что все эти формы проникли и в радиопередачи, и в учебники русской словесности, и даже в статьи об искусстве.

Так же дороги подобным приверженцам канцелярского слога словосочетания: “с

позиций”, “в деле”, “в части”, “в силу”, “при наличии”, “дается”, “имеется” и т. д.

“Упадочнические настроения *имеются* у многих буржуазных поэтов”.

“В первоначальном наброске *имелась* радужная картина косьбы”.

“Мужик в этой поэме Некрасова *дается* человеком пожилым”.

“Фадеевым в его романе *даются* образы советской молодежи”.

“У Пушкина Онегин *дается* большим повесой”.

“С *позиций* писателя, проводившего *линию* отрицания и обличения”.

“В *силу слабости* его мировоззрения”.

Сила слабости! Право, это стоит “линии отсутствия”. Вы только вчитайтесь внимательнее в эти фантастические строки:

“Журнал предполагает расширить свою тематику за счет более полного освещения вопросов советского государственного строительства” - такое объявление напечатал в 1960 году один сугубо серьезный ученый журнал [Печатное обращение к читателям журнала “Советское государство и право” (в конце 1960 года).].

Для всякого, кто понимает по-русски, это значит, что журнал вознамерился наотрез отказать от полного освещения одного из наиболее насущных вопросов нашей общественной жизни. Ведь если первое дается за счет чего-то второго, это значит, что второе либо сокращено, либо вовсе отсутствует. Между тем ученый журнал и не думал хвалиться перед своими подписчиками, что он сузит, сократит или даже вовсе выбросит одну из самых животрепещущих тем современности! Он, очевидно, хотел выразить прямо противоположную мысль. Но его подвело, как и многих других, слепое пристрастие к канцелярскому слогу.

“Линия отсутствия”, “фронт недопонимания”, “полоса застоя”, “показ Пушкиным”, “показ Достоевским”, “поскольку”, “задание”, “за счет” и пр. Мудрено ли, что, когда студентка кончает свой вуз и выходит на литературное поприще, у нее до того притупляется слух к языку, что она начинает создавать вот такие шедевры чиновничьей речи:

“Развивая свое творческое задание (?), Некрасов в отличие (?) от Бартенева дает (?) великого поэта (так и сказано: “дает великого поэта”. — **К.Ч.**) и здесь, в окружении сказочного ночного пейзажа, работающим (так и сказано: “дает поэта работающим”. — **К.Ч.**) и сосредоточенно думающим, имеющим сложную волнующую жизнь (так и сказано: “имеющим жизнь”. — **К.Ч.**), как-то соотносящуюся с жизнью народа — не случайно так *выпукло и рельефно*, сразу же за раскрытием *только что названной* особенности образа Пушкина, воспроизводится Некрасовым татарская легенда о трогательной дружбе русского поэта со свободной певческой (?!) птичкой-соловьем” [К истории создания образа Пушкина в поэме Некрасова “Русские женщины”. “Ученые записки Ивановского педагогического института”, т. VI, стр. 112. Некоторые примеры я заимствую из учебников, относящихся к началу 50-х годов, но ведь поколение, которое действует ныне во всех сферах общественной жизни (в том числе и педагоги), формировалось именно теми учебниками.]. Прочтите эту околесицу вслух (непреренно вслух!), и вы увидите, что я недаром кричу караул: если о гениальном поэте, мастере русского слова, у нас позволяют себе писать и печатать такой густопсовый сумбур — именно потому, что он весь испещрен псевдонаучными (а на самом деле канцелярскими) фразами, значит нам и вправду необходимо спастись от этой словесной гангрены.

Мало найдется охотников продираться через густой и колючий бурьян мертвых, затасканных фраз, словно списанных из какой-нибудь чиновничьей ведомости. Люди пишут о величайших художниках, о красоте и силе их поэтической речи и даже не догадаются предъявить к своей собственной речи хоть какие-нибудь, хоть самые минимальные требования. Как может человек услышать речь поэта, если он не слышит даже своей собственной речи и выкамаривает вот такие периоды:

“Совершенно несомненно, что и с точки зрения реакционной периодики, и с точки зрения титулованных охранителей, и с точки зрения передового читателя 40-х годов, словом, и с точки зрения врагов, и с точки зрения друзей...” и т. д. и т. д. Подобно тому как моя вагонная собеседница, называя рощи и перелески “зеленым массивом”, воображает, будто речь ее стала “культурнее”, так и многие авторы, отдавая предпочтение всем этим “по линии отсутствия”, “за счет внесения”, “наличие реалистических черт”, “творческое задание”, “показ”, “на

фронте недопонимания”, “с точки зрения” (повторенное пять раз), считают такие канцеляризмы неотъемлемой принадлежностью ученого слога.

И кто из нас не знает редакторов, которым всякие канцеляризмы эстетически милы.

В предисловии к одной своей книге я позволил себе сказать: “Эта книга...” Редактор зачеркнул и написал: “*Настоящая* книга...”

И когда я возразил против этой поправки, он сию же минуту предложил мне другую: “*Данная* книга...”

И мне вспомнилось в тысячный раз гневное восклицание Чехова:

“Какая гадость чиновничий язык. «Исходя из положения», «с одной стороны...», «с другой стороны», и все это без всякой надобности. «Тем не менее», «по мере того» чиновники сочинили. Я читаю и отплеываюсь... Неясно, холодно и неизящно: пишет, сукин сын, точно холодный в гробу лежит”. Замечание Чехова относится исключительно к казенным бумагам, но кто же может объяснить, почему авторы, которые пишут о литературных явлениях старого и нового времени, обнауживают такое пристрастие к этому “неясному, холодному и неизящному” стилю, связывающему их по рукам и ногам? Ведь только эмоциональной, увлекательной, взволнованной речью могли бы они передать — особенно школьникам — то светлое чувство любви и признательности, какое они питали всю жизнь к благодатной поэзии Пушкина. Потому что дети до конца своих дней возненавидят творения Пушкина и его самого, если вы вздумаете беседовать с ними на таком канцелярском языке, каким пишутся казенные бумаги. “Показ Пушкиным поимки рыбаком золотой рыбки, обещавшей при условии (!) ее отпуска в море значительный (!) откуп, не использованный вначале стариком, имеет важное значение (!)... Повторная встреча (!) с рыбкой, посвященная вопросу (!) о новом корыте...” Эта убийственно злая пародия блистательного юмориста Зин. Паперного хороша уже тем, что она почти не пародия: именно таким языком протоколов и прочих официальных бумаг еще недавно принято было у нас говорить в учебниках, брошюрах, статьях, диссертациях о величайших гениях русской земли.

Когда Паперный сочинял “поимку рыбаком” и “отпуск в море”, ему и в голову яе приходило, чтэ для педагогов написана ученая книга, где о том же стихотворении Пушкина говорится вот такими словами:

“...в “Сказке о рыбаке и рыбке” А.С. Пушкин, рисуя нарастающее чувство гнева “синего моря” против “вздурившейся” старухи в форме вводных предложений...”. “При второй “заявке” старухи...”, “С ростом аппетита “проклятой бабы” растет реакция синего моря”. Так и напечатано: “реакция синего моря”. Чем же это лучше “показа поимки” и “вопроса о новом корыте”?

V

Но это еще не все. Главная беда заключается в том, что канцелярская речь по своей ядовитой природе склонна отравлять и губить самые живые слова. Как бы ни было изящно, поэтично и выразительно слово, чуть только войдет оно в состав этой речи, оно совершенно утрачивает свой первоначальный человеческий смысл и превращается в нудный шаблон.

Мы только что видели: даже слово *борьба*. едва оно сделалось примелькавшимся словом, употребляемым буквально на каждом шагу, утратило первоначальную свою динамичность, и им стали пользоваться как дешевым шаблоном даже те, кто уклоняется от всякой борьбы.

Так же канцеляризировалось слово *протест*— конечно, не везде, не для всех, но, во всяком случае, для множества школьников, которые уже давно заприметили, что без этого слова немислимо ни одно из школьных сочинений.

— Ничего, не впервые, изловчусь как-нибудь! — сказал мне десятиклассник, признавшийся, что совсем не читал Гончарова, о котором ему завтра предстоит написать сочинение. — Главное, чтоб было побольше протестов. Я так и напишу непременно: “Гончаров в своих романах *протестовал* против...” Уж я придумаю против чего.

Любое слово, даже, казалось бы, самое ценное, и то рискует превратиться в истертый шаблон, не вызывающий ни малейших эмоций, если его станут применять слишком часто и притом механически.

Это произошло, например, с такими словами, как *яркий* и *ярко*.

Я знаю учебник по литературе для девятого класса, где говорится, что такой-то писатель дает такие-то *яркие* образы, а такой-то *ярко* отражает такую-то психику, а у такого-то *ярко* обрисован такой-то характер и *ярко* выявлены такие-то черты, а такой-то *ярко* показал, а такой-то и сам по себе есть *яркий* выразитель чего-то.

Мудрено ли, что уже на пятой странице эта *яркость* начинает ощущаться как *тусклость*, а на шестой окончательно гаснет, и мы остаемся во тьме, ибо кто же не почувствует, что за этим механически повторяющимся стертым клише скрывается равнодушие ленивых умов, даже не пытающихся сказать о замечательных русских писателях свое собственное, свежее, от сердца идущее слово.

Боже меня сохрани восставать против слова *яркий*! Это чудесное, яркое слово. Но даже оно умирает, когда становится примелькавшимся термином под пером у равнодушных писак.

Такому же омертвлению подверглось у них, например, слово *волнующий*, ибо стало уже закоренелой привычкой повторять это слово на десятках страниц: *“таков этот волнующий образ”*, *“таков этот волнующий гимн природе”*, *“волнующий* показ его ‘несчастий’”. От механического повторения и этот отличный эпитет в конце концов перестает ощущаться.

Таким же омертвелым эпитетом стало, например, очень неплохое слово *сочный*: *“сочный язык”*, *“сочный образ”*, *“фантастическое у Некрасова так сочно”*, *“Погорельский сочно передавал быт и нравы...”*, и глядишь: через две-три страницы даже слово *сочный* засохло.

Рецензент “Нового мира” А. Липелес, сурово осудив тот бездушный жаргон, на котором написана одна из подобных литературоведческих книг, приходит к заключению, что такие книги *“убивают всякий интерес к своему предмету”* [“Новый мир», 1961, № 5, стр. 257.].

Боюсь, что дело обстоит гораздо хуже. Потерять интерес — полбеда. Несчастье заключается в том, что эти книги нередко внушают читателям ненависть к тому, что они хотят восхвалять. Так как ничего, кроме злой тоски, не может вызвать литературоведческий опус, в котором из страницы в страницу мелькают такие слова:

“В повести показаны...”,

“в этой сцене показаны”,

“писатель без прикрас показал”,

“Горький показал”,

“М.Шолохов показал”,

“Фадеев показал”, и еще раз *“Фадеев показал”*,

“Автор стремится показать”,

“Это панорама, показывающая”,

“В «Брусках» яркопоказан” и т. д., и т. д., и т. д.

Когда же все эти *показал, показал, показал* примелькаются, как еловые шишки, автор для разнообразия вводит словечко *раскрыл*: *“Фурманов блестящераскрыл...”*,

“Фадеев раскрыл...”,

“(Автор) в своих заметках раскрыл...”,

“Образ Бугрова... раскрыт Горьким...”

Отнимите у подобного автора его *показал* и *раскрыл*, и у него ничего не останется. Требовать у него вдохновения, сердечного жара, новаторства, страсти — все равно, что требовать их у вяленой воблы. Его нищенски бедный словарь только и пригоден для регистрации всех этих *раскрыл* и *показал*, а если попадет ему под перо такое колоритное выражение, как *сгусток энергии*, он делает шаблон и из него: *“Васса Железнова изображена как сгусток энергии”*.

“Степан Кутузов выглядит (?) сгустком энергии” [А. Турков, *Раскрыл... показал.* // “Вопросы литературы”, 1960, № 5, стр. 62-65.].

Критик Андрей Турков рассматривает эту книгу как некую забавную редкость. К сожалению, это не так. Беру сочинение десятиклассника Миши Л-на *“Молодогвардейцы — типичные представители советской молодежи”* и там с глубочайшею скорбью читаю: *“В образе Олега Кошевого показан... Автор показал наших советских людей... Однако в первом издании была недостаточно ярко показана... Теперь в романе показана... Фадеев глубоко раскрыл... Он показал типичные черты... Фадеев с большой теплотой показывает...”* и так

дальше, и так дальше. Сочинение вполне удовлетворило учительницу и получило наивысшую оценку.

И вот сочинение отличницы Мины Л-ской о “Поднятой целине”, тоже оцененное пятеркой.

“М. Шолохов отлично *показал*... Он *показал* нам, как... Писатель отлично *показал* нам классовую борьбу... Он *показал* нам столкновение лицом к лицу... М. Шолохов в особенности хорошо *показал* нам казаков, которые... Автор при помощи этого образа *указывает*, что... Книга *показала* нам, как, преодолевая все препятствия...” и т. д. и т. д. *Показал* и *раскрыл*, и еще *показал*, и еще, и еще.

Да и все прочие слова — до чего они скудны! Словно исчез, позабылся весь русский язык с его великолепным богатством разнообразнейших слов, и уцелели только два-три десятка стандартных словечек и фраз, которые и комбинируются школьниками, нередко при поддержке учителя.

В такой же шаблон превратилась и другая литературная формула: “*сложный и противоречивый путь*”. Если биографу какого-нибудь большого писателя почему-либо нравятся его позднейшие вещи и не нравятся ранние, биограф непременно напишет, что этот писатель “*проделал сложный и противоречивый путь*”. Идет ли речь о Роберте Фросте, или о Томасе Манне, или об Уолте Уитмене, или об Александре Блоке, или об Илье Эренбурге, или о Валерии Брюсове, или об Иване Шмелеве, или о Викторе Шкловском, можно предсказать, не боясь ошибки, что на первой же странице вы непременно найдете эту убогую формулу, словно фиолетовый штамп, поставленный милицией в паспорте: *сложный и противоречивый путь* [В последнее время к этим словесным стандартам присоединилась формула: “*в целях художественной выразительности*”: “*Гоголь в целях художественной выразительности...*”, “*Короленко в целях художественной выразительности...*”, “*Шишков в целях художественной выразительности...*”].

Повторяю: я не настолько безумен, чтобы восставать против этих словосочетаний и слов. Каждое из них вполне законно и правильно, и почему же не воспользоваться ими при случае? Но горе, если в своей массе, в своей совокупности они определяют собою стиль многих книг и статей, являются, так сказать, доминантами этого литературного стиля! Горе, если признаком научности исследований о том или ином из великих художников слова будет этот якобы научный, а на самом деле канцелярский жаргон, весь насыщенный шаблонными словами. Не отпугиваем ли мы читателей от наших книг и статей именно этим казенным жаргоном?

Ведь литературоведение не только наука, но в значительной мере искусство. Главное в этом искусстве — язык, щедрый, изощренный и гибкий. И чтобы дать литературный портрет того или иного писателя, дать характеристику его творческой личности — будет ли это Герцен, Грибоедов, Крылов или Александр Твардовский — требуется богатейшая лексика, изобилующая разнообразными красками. Здесь с такими словечками, как “яркий”, “волнующий”, “сочный” (если даже прибавить к ним “показал” и “раскрыл”), далеко не уедешь. Не помогут тебе и такие трафаретки, как: “с *исключительной* силой”, “с *исключительной* любовью”, “с *исключительной* смелостью”.

Здесь стандартная фразеология особенно немощна, потому что на страницах твоей статьи или книги придется же тебе процитировать того гениального мастера, о котором ты пишешь, и контраст между его обаятельным стилем и стилем твоих штампованных, казенных сентенций покажется читателю особенно разительным.

Повторяю: если бы школы и вузы поставили себе специальную цель-отвадить учащихся от нашей бессмертной и мудрой словесности, они не могли бы достичь этой цели более верными и надежными средствами.

А язык наших радиопередач, раздающийся изо дня в день во всех поселках, деревнях, городах! ⁶

⁶ Молодому читателю напомним, что Корней Иванович писал о языке радиопередач 50-60-ых годов XX века, когда суконый язык дикторского текста контрастировал с замечательными делами современников. Судите сами, согласуется ли стиль нынешних радио и телевидения с нормой жизни большинства окружающих вас людей. — V. V. Ленинградская учительница Н. Долинина — человек большой культуры, большого дарования и вкуса — с

Сегодня, например, я шестой раз слышу по радио такие слова: «Трудовыми успехами встречают знаменательную дату труженики района» (области, города, фабрики, завода, колхоза). Здесь что ни слово, то штамп. Слушаешь такое, и труженики, о которых говорит диктор, начинают казаться какими-то механическими фигурами, превращаются в безликую толпу статистов. А ведь речь идет о разных — и прекрасных — людях, о разных — и прекрасных — делах!

Почему в газетных статьях и радиопередачах Николай Мамай становится похожим на Валентину Гаганову, а она, в свою очередь, на Терентия Мальцева, как будто это штампованные детали, а не люди, каждый из которых — неповторимое чудо?!

Штамп так прочно вошел в наш язык, что мы перестаем его замечать — вот в чем самая большая беда. Случилось так, что однажды ко мне один за другим пришли три моих бывших однокурсника — теперь все они журналисты — и каждый попросил на машинке его небольшую статью. Они писали не об одном и том же: один — о морях, другой — о практике студентов, третий — о рыбачьей артели. Но все три статьи начинались одинаково:

«Сурово плещут свинцовые волны Балтийского моря...»

Казалось бы, что здесь плохого? Все на месте, никаких нарушений грамматики, даже «художественно». Но ведь этими словами начинались уже десять, двадцать, сорок статей, так или иначе связанных с морем!

Если профессиональный журналист не замечает, что он пишет штампами, то чего можно требовать от стенгазет? И вот оказывается, что в школе, в поликлинике, на фабрике, в универмаге висят стенгазеты с совершенно одинаковыми статьями, написанными «как полагается», то есть штампами.

Каждый, кому приходилось читать те сотни читательских писем, которые ежедневно приходят в редакции газет и журналов, знает, как трудно бывает добраться до смысла многих писем, понять, что хотел сказать автор, — таким чудовищным канцелярским языком пишут люди. А ведь говорят они иначе! Но когда принимаются писать в газету да еще о чем-то очень важном в их жизни, то стараются приблизить свой язык к тому, какой они привыкли видеть на страницах печатного органа” [*Н. Долинина*, Маскарад слов. Статья в “Известиях” от 29 ноября 1960 года.].

Статья написана умной и наблюдательной женщиной, чуткой к красоте родного слова, и когда читаешь статью, хочется обратиться к педагогам, писателям, школьникам и даже надгробным ораторам с самой настойчивой, пламенной просьбой:

— Пожалуйста, говорите по-своему, своим языком. Избегайте трафаретов, как заразы. Ибо словесный трафарет есть убийство души, он превращает человека в машину, заменяет его мозги — кибернетикой. А если у школьников из-за канцелярской фразеологии, все еще процветающей во многих классах, мозги уже слишком засорены всевозможными “линиями показа”, “яркими раскрытиями образов”, научите их преодолеть этот вздор, замутивший их мысли и чувства.

Правда, это дело нелегкое, и надеяться на быстрый успех невозможно.

“Однажды, — рассказывает та же учительница, — я устроила на уроке литературы нечто вроде старой игры — “барыня прислала туалет”. Только вместо запрещенных в этой игре слов мы договорились обходиться в рассказе о литературном произведении без “типичного представителя”, “образа”, “является” и т. д. Один за другим выходили к доске нормальные, умные юноши и девушки и, споткнувшись на первой же фразе, под общий хохот возвращались на место. Я видела: ребятам не только смешно, но и стыдно. Они искренне хотят найти какие-то другие, точные и сильные, свои собственные слова, но у них ничего не получается.

Сколько сил и времени нужно потратить учителю, чтобы преодолеть эту инерцию штампа, уже воспитанную в ученике — не только в старшекласснике-в семилетнем!”

К сожалению, есть немало педагогов, которые не только не преодолевают эту “инерцию

грустным недоумением пишет: “Я много думала над тем, откуда берется эта тяга к штампу, советовалась с другими учителями и в конце концов пришла к выводу: говорят и пишут унылыми, казенными словами именно те дети, которые чаще других слушают радио, смотрят телевизионные передачи...”

штампа”, а, напротив, всячески содействуют ей. Ибо пятерка часто достается тому школяру, который при помощи удачной подтасовки навязанных ему трафаретов изложит наиболее гладко и “правильно” зазубренные им штампы учебников. Свежему, искреннему, самобытному чувству, свежей (пусть и “еретической”) мысли нелегко пробиться сквозь все эти мрачные “показы” и “линии”.

Мне случалось бывать на уроках, где автоматизм речи доведен до предела: ни одного свежего, живокровного, небанального слова. И я с огорчением видел, что есть еще у нас учителя, которые сплошь и рядом питаются только шаблонами — и не могут не питать ими учащихся. Между тем автоматизм баюкает, усыпляет сознание. Что же удивительного, что с теми именами, которые украсили всю нашу жизнь, с именами Пушкина, Гоголя, Герцена, Толстого, Достоевского, Чехова, у множества школьников связана беспросветная скука? Эти величайшие гении русской земли кажутся им нудными, глубоко неинтересными личностями, которые только затем и существовали на свете, чтобы учебники могли плести вокруг них унылую свою канитель, состоящую из затасканных слов. Нужно было сильно стараться, чтобы впечатлительных, пытливых советских подростков отвести от “Ревизора” и “Медного всадника”, но чего не сделает рутинная чиновничья речь! В том и заключается ее “страшная сила”, что она убивает решительно все, в чем есть задушевность, человечность, поэзия.

Никогда не забуду тот горестный случай, который мне довелось наблюдать.

Старик привел в детскую библиотеку четырнадцатилетнего внука и в разговоре со мною посетовал, что тот питает слишком большое пристрастие к приключенческой литературе о шпионах.

Внук гневно взметнул на него свои черные красивые глаза:

— А ты что думаешь, я тебе Пушкина читать буду!

Я рассказал об этом случае в газете и получил от одной учительницы такое письмо, в котором слышится слишком уж горькое чувство.

“...Нельзя, — говорится в письме, — больше ни одного года терпеть существующий у нас стиль преподавания русской литературы. Если бы вы почитали сочинения выпускников — не одно, а в массе! Страшно становится: “образы”, “представители”, “проходят красной нитью”, “гневный протест” и т. д. А поговоришь с человеком, он и произведения, оказывается, не читал, о котором только что так бойко отзывался.

Не вредит ли навязчивое, слишком усердное толкование, пресловутое “анализирование” русских стихов, рассказов, поэм, повестей? Не полезнее ли для ребят просто побольше их читать, может быть, с помощью умного старшего друга?

Получается, что между Пушкиным и четырнадцатилетним мальчуганом стоит какой-то страшно тусклый и бездушный посредник, взявший на себя роль переводчика. Почему мы не доверяем поэтам, художникам слова? Ведь художественное произведение тем и замечательно, что доводит какую-то **идею** до глубин нашего сознания. Кто лучше Льва Толстого скажет мне то, что он “хотел сказать”? Учителя очень часто обращаются к ученикам с общей формулой: “писатель своим произведением (или этими словами) хотел сказать...” Хотел да не мог: не хватило, стало быть, ума и таланта. А вот учебник сейчас вам все растолкует.

Слишком далеко зашел в школе отрыв “литературы” от текстов, от самой литературы. Дети, подростки, юноши, по-моему, должны прежде всего знать стихи Пушкина, а уж во вторую очередь — о стихах Пушкина”.

Нужно, чтобы эта чудесная мысль, такая простая и ясная, была непременно усвоена всеми преподавателями нашей словесности — мысль о том, что сам Пушкин гораздо важнее, ценнее, нужнее, чем целый батальон методистов, которые, словно специально для школьных шпаргалок, навязывают детям готовые формулы: что именно “раскрыл” он в “Онегине” и что “показал” в “Полтаве”.

Непосредственное, прямое, эмоциональное восприятие того или иного произведения поэзии должно предшествовать всяким учительским мудрованиям над ним.

“Я бы очень хотел, — сказал Александр Твардовский в своей замечательной речи на Всероссийском съезде учителей, — я бы очень хотел, чтобы наши школьники, читая роман или повесть, не “анализировали” бы их с карандашом в руках, а *отдавались бы процессу чтения, как процессу радостного общения с книгой* ” [Александр Твардовский, Статьи и заметки о

литературе. М., 1961, стр. 210. (Подчеркнуто мною. — *К.Ч.*). “Радостное общение с книгой” — в сущности, только оно и влияет на душевную жизнь учащихся.

Что же касается того анализа, о котором иронически упоминает Твардовский, — кому же неизвестно, что во многих случаях этот анализ представляет собой чистейшую фикцию!

Ведь в учебнике наперед декретировано, что школьнику полагается думать о Лермонтове, и что — о Маяковском, и что — о Некрасове. Зазубри все эти готовые формулы, и ты будешь освобожден от нелегкой обязанности самостоятельно мыслить. Весь производимый тобою “анализ” сведется к механическому повторению вызубренного.

Как и всякая схоластика, эта преподаваемая в школах “словесность” догматична по самому своему существу. Между тем именно теперь, когда весь педагогический процесс совершается под лозунгом приближения школы к жизни, особенно дикими кажутся мне эти догматичные методы изучения одной из самых жизненных и жизнелюбивых литератур человечества, вся сила которой в ее органическом слиянии с действительностью.

Поэтому так радуют дружные требования передовых педагогов, настаивающих, чтобы этой унылой догматике был положен конец. Их требования достаточно громко звучат на страницах журнала “Литература в школе” (кстати сказать, очень живого и дельного).

Вот что пишет, например, в этом журнале учительница Ф.Красухина (Кострома) о преподавании словесности:

“Так как мы имеем дело с искусством, то необходимо, чтобы оно взволновало учащихся, чтобы они восприняли его раньше всего сердцем, а потом уж головой...” [“Литература в школе”, 1961, № 3, стр. 53.]. Учитель Ю. Недоречко (Таганрог): “Чтобы приготовить учащихся к жизни и практической деятельности, нужно научить их самостоятельности суждений” [“Литература в школе”, 1961, № 3, стр. 57.]. О том же говорят и руководители тридцати районных методических объединений Орловской области: “Признавая необходимость борьбы со схематизмом, догматикой, вульгарным социологизмом в методике и практике школьного преподавания литературы, участники совещания считают, что изучение произведений должно углублять непосредственно эмоциональное восприятие” [“Литература в школе”, 1961, № 4, стр. 65-66.]. Все педагоги, выступающие в этом журнале, — все в один голос требуют, чтобы классные сочинения школьников были творческими.

Учительница К.Р. Лапина (г. Нижний Тагил) говорит:

“Школа раньше всего должна научить излагать свое, а не чужое. Вот почему нужны сочинения творческие” [“Литература в школе”, 1961, № 4, стр. 67.]. Учитель Б.И. Степаншин (Львов): “Сочинения на аттестат зрелости должны быть подлинно творческими” [“Литература в школе”, 1961, № 4, стр. 68.]. Вообще, когда перелистываешь этот журнал, проникаешься твердой уверенностью, что старые, закостенелые методы преподавания словесности, осужденные передовой педагогической мыслью, уже недолго просуществуют у нас. Лучшие педагоги страны вынесли им смертный приговор. И этих лучших — великое множество. Они всей душой откликнулись на призыв о перестройке школы и дружными усилиями покончат с бездумной зубрежкой готовых схематических формул, со стандартной канцелярской фразеологией учебников, со всей той унылой скущицей, какую нагоняли на школьников старые учебные методы.

Известный московский педагог С.Л. Айзерман так и озаглавил свою статью — “Творческие работы учащихся”. В ней он требует, чтобы в этих работах дети высказывали “свои, а не книжные мысли”. Нужно, пишет он, чтобы “ничто не сковывало творческую инициативу (детей), не ограничивало ее рамками каких-либо лексических или грамматических требований”. Статья заканчивается такими словами:

“Открывать глаза и окрылять сознание — вот задача всех школьных уроков, и язык должен служить этим задачам в максимальной степени”, — это было написано М.А. Рыбниковой два десятилетия назад, но, к сожалению, и до сих пор работа над языком не осознана нами как работа воспитательная. А пора, давно пора это сделать. Голос общественности, звучащий со страниц газет и журналов, лишней раз об этом напоминает” [“Русский язык в школе”, 1961, № 3, стр. 65-70.]. Конечно, не все педагоги принадлежат к этому передовому отряду. Есть еще немало отсталых, придерживающихся рутинных приемов. С гневом пишет о них одна новосибирская молодая учительница М. С. Т.:

“Я-то знаю, какие учителя литературы выходят из наших вузов. Видела их в действии. После урока одной учительницы о “Евгении Онегине” месяц не могла опомниться: хотелось куда-то бежать, кричать: “Люди, что вы делаете?! Остановитесь!”

Лучше совсем не преподавать литературу, чем так ее преподавать (как, например, эта учительница). Но учительница только послушно и в меру своих способностей “осуществляла” методическую разработку.

Литература, как известно, воспитывает. При современном стиле и мастерстве ее преподавания — во многих случаях — она воспитывает пустомель, фразеров, а порой и ханжей, формалистов, начетчиков, бюрократов. Девушка с ясным взглядом достает из чулка шпаргалку на тему «Хочу быть похожей на Павку Корчагина», а другая списывает у соседки: «Мой любимый литературный герой»...

Во всяком случае, нельзя сомневаться, что на язык молодежи принятый стиль изучения литературы оказывает дурное влияние. Отвлеченная лексика учебников, сложные синтаксические конструкции часто не находят опоры в речи 15-16-летних подростков: они начинают пользоваться ими, не понимая. Переносное употребление, предвосхищая буквальное, не обогащает речи, а только засоряет ее.

Оттого-то так часто случается, что родной язык и родная литература для молодого человека порой труднее высшей математики, а сочинения при поступлении в вуз — какое-то пугало”.

Около года назад пришел в библиотеку молодой человек лет шестнадцати и попросил деловито:

— Не можете ли вы подобрать для меня материал: “За что я люблю Тургенева?”

— Какой тут материал? — сказал я. — Это дело вашего личного вкуса. Не спрашиваете же вы у меня материалов для объяснения вашей любви... ну, хотя бы к футболу.

— Так ведь футбол я люблю в самом деле, а Тургенева...

Вот до чего довели наших талантливых школьников те далекие от жизни схоластические методы преподавания словесности, которые, как мы видим, горячо ненавистны лучшим учителям и учащимся. Теперь их осудила вся общественность, и — я верю — возврата к ним нет и не будет ⁷.

Пусть мутный и тусклый жаргон станет табу для всех педагогов-словесников. Пусть они попытаются говорить с учениками о великих литературных явлениях образным, живым языком. Ведь недаром же сказал Чехов, что “учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело”. Канцеляристы же, строчащие реляции о вдохновенных художниках слова, должны быть уволены по сокращению штатов и пусть занимаются другими профессиями.

Никому не уступлю я своей многолетней любви к педагогам. Если неграмотная старая Русь в такие сказочно короткие сроки сделалась страной всеобщей грамотности, здесь бессмертная заслуга советских учителей и учительниц. Их тяжкий и такой ответственный труд требует от них неослабного, непрерывного творчества, постоянного напряжения всех сил.

К сожалению, требования, которые еще так недавно предъявлялись к ним школьной программой, не давали развернуться их талантам. От живой жизни она нередко уводила их в область отвлеченной схоластики.

Теперь этой схоластике приходит конец. После опубликования Закона об укреплении связи школы с жизнью прежние методы преподавания словесности стали немыслимы.

“Я думаю, — сказал на Всероссийском съезде учителей Александр Твардовский, — я даже убежден, что именно эта перестройка (всей системы школьного дела. — **К.Ч.**), решительно, по-революционному ломающая то, что окостенело, одеревенело, не соответствует нынешнему дню, так же решительно отметет то порочное в практике преподавания литературы, о котором столько уже толкуют наша печать и общественность и в оценке чего сходятся и

⁷ Сцена, виденная в 1998 г. На крыльце гимназии семиклассницы, поступающие в «гумкласс», обсуждают коронный вопрос: «Твой любимый поэт:». Одна робко сказала — Маяковский. Остальные захохотали: «Ты что, дура? Его ж не репрессировали... Только Мандельштам, или там Ахматова». — **V.V.**

учащиеся, и родители, и сами учащие” [Александр Твардовский, «Преподавание литературы — творческое дело» в книге «Статьи и заметки о литературе». М., 1961, стр. 212.]. Так оно и будет несомненно. Все, что в нашей педагогической практике встало в противоречие с действительностью, будет отмечено, уничтожено.

Поэт оптимистически верит, что эта система уже отодвинута в прошлое.

“...Все то, — говорит он, — что мы называем догматической, формалистической, схоластической и иной манерой преподавания литературы, все это относится к *прежнему дореформенному периоду школы*”. Но старое не сдастся без боя. Нам всем предстоит борьба с одряхлевшей рутинной, цепляющейся за привычный стандарт.

В эту борьбу попытался включиться и я. Скромная задача настоящей главы — обнаружить один из очень многих изъянов дореформенной школы, который, как мне кажется, до сих пор оставался в тени.

Я убежден, что изучение русской литературы станет лишь тогда живым и творческим, если из школьного обихода будет самым решительным образом изгнан оторванный от жизни штампованный, стандартный жаргон, свидетельствующий о худосочной, обескровленной мысли. Против этого жаргона я и восстаю в своей книжке, убежденный в самом сердечном сочувствии педагогов-словесников.

Ибо каждый, кому дорого духовное развитие наших детей, обязан, насколько у него хватит умения и сил, способствовать скорейшему преодолению гнилого и затхлого, ради нового — живого и творческого.

Глава седьмая **НАПЕРЕКОР СТИХИЯМ**

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Н. Заболоцкий

I

Какая-то “дама с собачкой”, одетая нарядно и со вкусом, хотела показать своим новым знакомым, какой у нее дрессированный пудель, и крикнула ему повелительно:

— *Ляжь* !

Одного этого *ляжь* оказалось достаточно, чтобы для меня обозначился низкий уровень ее духовной культуры, и в моих глазах она сразу утратила обаяние изящества, миловидности, молодости.

И я тут же подумал, что, если бы чеховская “дама с собачкой” сказала при Дмитрие Гурове своему белому шпицу:

— *Ляжь* ! —

Гуров, конечно, не мог бы влюбиться в нее и даже вряд ли начал бы с нею тот разговор, который привел их к сближению.

В этом *ляжь* (вместо *ляг*) — отпечаток такой темной среды, что человек, претендующий на причастность к культуре, сразу обнаружит свое самозванство, едва только произнесет это слово.

Что, например, хорошего мог я подумать о том престарелом учителе, который предложил первоклассникам:

— Кто не имеет чернильницы *спереду*, *мочай взад* !

И о студенте, который сказал из-за двери:

— Сейчас я *поброюсь* и выйду!

И о той любящей матери, которая на великолепнейшей даче закричала дочери с балкона:
— *Не раздевай пальта!*

И о том прокуроре, который сказал в своей речи:

— Товарищи! Мы собрались *здесь* вместе с вами, чтобы навсегда покончить с уродствами нашей жизни. Вот *здесь* перед вами молодой человек...

И о том директоре завода, который несколько раз повторял в своем обращении к рабочим:
— Нужно принять *девственные* меры.

Тамбовский инженер С.П. Мержанов сообщает мне о той неприязни, какую он почувствовал к одному из своих сослуживцев, когда тот написал в докладной записке:

“*Отседова* можно сделать вывод”.

“Так же я хорошо понимаю, — продолжает тов. Мержанов, — известного мне студента, который сразу охладел к любимой девушке, получив от нее нежное письмо со множеством орфографических ошибок”.

Прежде, лет сорок пять назад, грешно было бы сердиться на русских людей за такие извращения речи: их насильственно держали в темноте. Но теперь, когда школьное образование стало всеобщим и с неграмотностью покончено раз навсегда, все эти *ляжь* и *мочай* не заслуживают никакого снисхождения.

“В нашей стране, — справедливо говорит Павел Нилин, — где широко открыты двери школ — и дневных и вечерних, — никто не может найти оправдание своей неграмотности” [*П. Нилин*, Опасность не там. “Новый мир”, 1958, № 4, стр. 2.]

Поэтому никоим образом нельзя допустить, чтобы русские люди и впредь сохраняли в своем обиходе такие уродливые словесные формы, как *булгахтер*, *ндравитя*, *броюсь*, *хочем*, *хужее*, *обнаковенный*, *хотит*, *калидор*. Или сорняки более позднего времени: *бронь*, *инцидент*, *я заскочу к вам на пару минут* и т. д.

II

Правда, наш язык до сих пор ощущается многими как некая слепая стихия, с которой невозможно бороться.

Одним из первых утвердил эту мысль гениальный ученый В. Гумбольдт (Брат знаменитого естествоиспытателя и путешественника Александра фон Гумбольта — Вильгельм (1767-1853) — был весьма разносторонним человеком — филологом, философом, языковедом, государственным деятелем, дипломатом. . — *V.V.*)

“Язык, — писал он, — совершенно независим от отдельного субъекта... Перед индивидом язык стоит как продукт деятельности многих поколений и достояние целой нации, — поэтому сила индивида по сравнению с силой языка незначительна”.

Это воззрение сохранилось до нашей эпохи.

“Сколько ни скажи разумных слов против глупых и наглых слов, как *ухажер* или *танцулька*, они — мы это знаем — от того не исчезнут, а если исчезнут, то не потому, что эстеты или лингвисты возмущались”, — так писал еще в двадцатых годах один пронзительный и даровитый ученый [*Д.Г. Горнфельд*, Муки слова. М. — Л., 1927, стр. 203—204.].

“В том и беда, — говорил он с тоской, — что ревнителю чистоты и правильности родной речи, как и ревнителю добрых нравов, никто слышать не хочет... За них говорят грамматика и логика, здравый смысл и хороший вкус, благозвучие и благопристойность, но из всего этого натиска грамматики, риторики и стилистики на бесшабашную, безобразную, безоглядную живую речь не выходит ничего” [*Д.Г. Горнфельд*, Муки слова. М. — Л., 1927, стр. 195.]. Приведя образцы всевозможных речевых “безобразий”, ученый воплотил свою печаль в безрадостном и безнадежном афоризме: “Доводы от разума, науки и хорошего тона действуют на бытие таких словечек не больше, чем курсы геологии на землетрясение”. В прежнее время такой пессимизм был совершенно оправдан. Нечего было и думать о том, чтобы дружно, планомерно, сплоченными силами вмешаться в совершающиеся языковые процессы и направить их по желанному руслу.

Старик Карамзин очень точно выразил это общее чувство смиренной покорности перед

стихийными силами своего языка: “Слова входят в наш язык самовластно”. В ту пору люди так и представляли себе: будто мимо них протекает могучая речевая река, а они стоят на берегу и с бессильным негодованием следят, сколько всякой дребедени и дряни несут на себе ее волны.

— Незачем, — говорили они, — кипятиться и драться. До сих пор еще не было случая, чтобы попытка блюстителей чистоты языка исправить языковые ошибки сколько-нибудь значительной массы людей увенчалась хотя бы малейшим успехом.

Но можем ли мы согласиться с такой философией бездействия и непротивления злу?

Неужели мы, писатели, педагоги, лингвисты, можем только скорбеть, негодовать, ужасаться, наблюдая, как портится русский язык, но не смеем и думать о том, чтобы мощными усилиями воли подчинить его своему коллективному разуму?

Пусть философия бездействия имела свой смысл в былые эпохи, когда творческая воля людей так часто бывала бессильна в борьбе со стихиями — в том числе и со стихией языка. Но в эпоху завоевания космоса, в эпоху искусственных рек и морей неужели у нас нет ни малейшей возможности хоть отчасти воздействовать на стихию своего языка?

Всякому ясно, что эта власть у нас есть, и нужно удивляться лишь тому, что мы так мало пользуемся ею.

Ведь существуют же в нашей стране такие сверхмощные рычаги просвещения, как радио, кино, телевидение, идеально согласованные между собой во всех своих задачах и действиях.

Я уже не говорю о множестве газет и журналов — районных, областных, всесоюзных, — подчиненных единому идейному плану, вполне владеющих умами миллионов читателей.

Стоит только всему этому целенаправленному комплексу сил дружно, планомерно, решительно восстать против уродств нашей нынешней речи, громко заклеить их всенародным позором — и можно не сомневаться, что многие из этих уродств если не исчезнут совсем, то, во всяком случае, навсегда потеряют свой массовый, эпидемический характер⁸.

Напрасно борцы за чистоту языка все еще чувствуют себя одиночками, не имеющими ни малейшей опоры в той среде, которая их окружает, и слишком часто впадают в уныние.

“Руки опускаются, — пишет мне сельская учительница Ф.А. Шарabanова. — Как ни толкую ребятам, что нельзя говорить *сколько время?*, *моё фамилие*, *десять курей*, *он пришел со школы*, *я раздел сапоги*, они упорно не желают расстаться с этими ужасными словами. Неужели не существует каких-нибудь способов сделать речь молодого поколения культурной?”

Способы есть, и совсем неплохие. Существует серьезный журнал “Русский язык в школе”, где всяких способов предлагается множество. В журнале очень хорошо отразились горячие попытки передовых педагогов повысить речевую культуру детей.

Но может ли школа — одна — истребить остатки бескультурия?

Нет, здесь нужны сплоченные усилия всех разрозненных борцов за чистоту языка — и можно ли сомневаться, что, если мы всей “громадой” дружно и страстно возьмемся за дело, нам удастся в ближайшее время пусть не вполне, но в значительной мере очистить наш язык от этой скверны.

В прошлом году я напечатал в “Известиях” небольшую статью, где было намечено несколько практических мер для общественной борьбы с извращениями и уродствами речи. В этой статье я предлагал между прочим проводить ежегодно во всесоюзном масштабе “Неделю (или месячник) борьбы за чистоту языка” под эгидой Академии наук СССР и Союза писателей.

Этот проект вызвал оживленные отклики, поразившие меня своей необыкновенною страстностью. Письма читателей хлынули ко мне целой лавиной из Ленинграда, из Москвы, из Киева, из Уфы, из Перми, из Переславля-Залесского, из Новосибирска, из Джамбула, из Гуся Хрустального, — и тут только я по-настоящему понял, как нежно и преданно любят свой великий язык советские люди и какую щемящую боль причиняют им те искажения, которые уродуют и портят его>

Почти в каждом из этих писем (а их восемьсот двенадцать!) указываются какие-нибудь конкретные способы искоренения этого зла.

⁸ Напоминаем, что Корней Иванович писал эту книгу в советское время. Сейчас этот «целенаправленный комплекс сил» находится в иных руках. — V.V.

Житель города Риги К. Баранцев предлагает, например, напечатать списки неправильных и правильных слов на обложках копеечных школьных тетрадей, которые распространяются среди миллионов детей.

Студент Львовского университета Валерий Ужвенко предлагает, со своей стороны, “указывать слова, калечащие наш язык, на почтовых открытках, на конвертах... Во время просмотра фильмов, — пишет он, — следовало бы показывать киножурнал «Почему мы так говорим?» или «Учись правильно говорить». О том, как нельзя говорить, следовало бы печатать на наклейках спичечных коробок, на коробках для конфет и печенья”.

“Я убежден, — пишет А. Кульман, преподаватель вуза, — что огромную пользу принесут массовые органы печати, в особенности «Комсомольская правда» и журнал «Огонек», если они заведут у себя постоянный отдел «Как не следует говорить и писать». Такие публикации будут полезны широкому кругу лиц, особенно нам, педагогам”.

Многие авторы выступают с проектом создания особой общественной организации, ратующей за чистоту языка.

“Я предлагаю, — пишет инженер-полковник А.В. Загоруйко (Москва), — учредить Всесоюзное общество любителей русского языка. Общество должно иметь республиканские, краевые, областные, городские, поселковые отделения и первичные организации при всех без исключения учреждениях, предприятиях, школах, вузах и т. д. Общество должно быть массовой организацией, и доступ в члены общества — неограничен”.

“Необходим организационный комитет или инициативная группа, — пишет Е. Гринберг из города Вендоры, — словом, организация, которая обладала бы способностью поставить и неуклонно вести свое дело по заранее обдуманному плану. К такой организации придут, вероятно, не тысячи, а сотни тысяч активных борцов за высокую речевую культуру”.

Художник-график Михаил Терентьев предлагает установить ежегодный праздник — по примеру болгарского Дня славянской письменности. “Можно сохранить его название и дату — 25 мая. Этот праздник будут праздновать и в колхозе, и в санатории, и на корабле, и “а фабрике, и в семье. Вместе с русскими его станут праздновать белорусы и украинцы...”

Откатчик шахты №51 Ф.Ф. Шевченко пишет: “У нас есть гигантская сеть красных уголков, которые должны стать центрами насаждения культуры родного языка на предприятиях, стройках, в сельском хозяйстве... Каленым железом выжигать похабщину, которая еще бытует кое-где в нашей речи... Глазами любви смотреть на дело воспитания молодого поколения...”

Инженер М. Гартман делится своим длительным опытом “борьбы с малограмотностью”.

“Восемь лет тому назад, — говорит он, — мы начали составлять и распространять у себя на работе список слов, чаще всего искажаемых при написании и произношении. Из года в год список увеличивался и к концу стройки был доведен до 165 слов. Интерес к нему проявили все — от простых рабочих до крупных специалистов. Рабочие и низший технический персонал запросто приходили и просили дать им светоконии списка, но более квалифицированные товарищи, не сумев преодолеть «барьер стыдливости», раздобывали списки через других, а иногда под благовидным предлогом — для сына или внучки”.

К письму приложена большая таблица “Правильное написание слов”, умело и толково составленная.

Все эти проекты, пожелания, советы должны быть тщательно обдуманы в каком-нибудь авторитетном коллективе, и когда лучшие из них осуществляются на деле, они, можно думать, окажутся не совсем бесполезными.

Правда, я очень хорошо понимаю, что всех этих мер недостаточно.

Ведь культура речи неотделима от общей культуры. Чтобы повысить качество своего языка, нужно повысить качество своего интеллекта. Мало добиться того, чтобы люди не говорили *выбора* или *мне ндравится*. Иной и пишет и говорит без ошибок, но какой у него бедный словарь, какие замусоленные фразы! Какая худосочная душевная жизнь сказывается в тех заплесневелых шаблонах, из которых состоит его речь!

Между тем лишь та речь может по-настоящему называться культурной, у которой богатый словарь и множество разнообразных интонаций. Этой культуры никакими походами за чистоту языка не добьешься. Здесь нужны другие, более длительные, более широкие методы. Эти методы и применяются в нашей стране, где народ создал для своего подлинного и

всестороннего просвещения столько библиотек, школ, университетов, институтов, академий наук и т. д. Поднимая свою общую культуру, советский народ тем самым поднимает и культуру своего языка.

Но, конечно, это не освобождает любого из нас от посильного участия в горячей борьбе за повышение нашей словесной культуры.